



Даниил Гольдин

Сон негра



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Даниил Юрьевич Гольдин

Сон негра

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31511513

SelfPub; 2018

Аннотация

Даниил Гольдин предлагает читателю окунуться в мир завораживающих метаморфоз, причудливых, странных, жутких, но смутно знакомых всем, кто хоть раз ощутил, что мир вокруг зыбок, как сон или наркотический бред. В этом мире современной сказки, где сплетаются былинные сюжеты с социальными мифами, а безумие со строгой логикой, мертвый Пушкин ищет вдохновение, а загадочная Татьяна плетет интриги против Царя Кощея. В этом мире волшебная Щука, бездушные строчки, любовь к России и само время рассыпаются в калейдоскопе общего сна. Сна Негра. И вам предстоит его толковать. Содержит нецензурную брань. Обложка: Анна Кириенко

Даниил Гольдин; май 2016 – апрель 2017

Сон негра

(Авторские права защищены)

Проклятая жаба никак не хочет брать на лапу. Уродливая жирная тварь все мнетса и нервно облизывает глаза, пока я сую ей золотые орешки в оттопыренный карман жилета.

Зачем ублюдок поднял меня? Ради чего? В шесть утра. А потом еще к этим деткам. Боже, они до сих пор читают мои стишки и чего-то хотят от меня.

А мне нужна эта вещь, которую он прячет и не хочет отдавать – боится. Для большого дела нужна вещь, Жаба. Ну же, отдай!

Жаба, наконец, кивнул, оправил сюртук и, воровато оглядевшись, вытащил из-под прилавка потрепанную книжонку. Не знаю, кого он опасается: в заваленном грудями книг зале ни души. В тусклом свете, протекающем через грязные круглые окна под потолком, на книги планируют пылинки. Я сгреб томик в охапку и сунул под плащ. За ночь сухожилия сохнут, к утру твердеют, и пальцы плохо слушаются.

Я резко и неловко оттягиваю тетиву под библиотечной стойкой, пока Жаба не понял, что происходит. Поднимаю короткий лук. Зазубренный наконечник стрелы, выпущенной в упор, входит в жабье горло, застревает в позвоночнике. Он оседает за прилавком, из дрожащей пасти вырывается буль-

кающее кваканье.

Без свидетелей. Впереди большое дело, и нельзя раньше времени оставлять хвосты.

Я удовлетворенно скалюсь и выхожу из книжной лавки через массивную резную створку.

Весна, а пасмурно как поздней осенью. Низкие тучи над каменными горами.

В школе меня ждут только к девяти.

Размяв пальцы, я кое-как впихнул томик во внутренний карман плаща. Цилиндр съехал на нос и ободрал с него полосу кожи острым ребром.

Спускаюсь в нору подземного поезда. Там шумно, и затхлый воздух. Мое обоняние не восстановилось с утра, и я не чувствую запахов. В вагоне не сесть. Люди сторонятся. Они еще не привыкли, что мы живем так близко от них. Мы для них мертвы. Нас опасаются, хотя сами же они нас оживили. Государю еще меньше повезло – на его черепе мясо неросло вовсе. Не хватило на него Духовности.

Они не понимают, зачем я здесь. Я сам не могу ответить на этот вопрос. Просто еду. В школу. Пригласили.

Сколько я здесь уже? Семь лет? Семь лет назад меня так же пригласили сюда волею народа и лаской Русского Духа. Нас пригласили. Меня и Государя – Батюшку тоже, чтобы порядок навел и правил.

Задумавшись, я начал грызть ноготь, как всегда это делал раньше. Кажется, я так делал. Скоро обнаруживаю, что жую

и ноготь, и кусок мяса с пальца. Он как вяленая рыба, сухой и соленый. Сплювывая на пол вагона и выхожу на поверхность через хлопающие на сквозняке двери.

Лицей где-то здесь. Начинается дождь, мне неуютно, я кутаюсь в плащ.

Низкое свинцовое небо светлеет, я вхожу в стеклянное здание по отесанным гранитным ступенькам. Их девять.

На входе меня долго не хотят впускать, пока не спускается мадам, которой я понадобился. На ней юбка выше колен. Мне нравятся такие, доступные. Юбка значит доступность. Какой бы длинной и пышной она ни была, ее всегда можно задрать. Раньше ни одна баба не носила брюк. Только руку под юбку запусти – пизда. Хорошее было время.

Она улыбается, но подойти близко боится. Я замечаю, как ее глазенки бегают по моему лицу, задерживаются на щеке. Я знаю, что сквозь рваную дырку она видит мои зубы. Ей нелегко было решиться пригласить меня.

– Здравствуйте, Александр Сергеевич! Как добрались? – она конфузится; – Меня зовут Фаина.

Фаина звучит как что-то смутно знакомое, но вспомнить не удастся. Я следую за ней на четвертый этаж.

– Это десятый «В», – торопливо инструктирует меня она, – они хорошие ребята. Вы извините, что я вас потревожила. Мне хотелось, чтобы у них было что-то особенное. Они очень любят ваши стихи. Может быть, даже больше чем Государя, – последние слова она бросила с озорным смеш-

ком и юркнула в дверь.

Ей не больше тридцати. Она любит этих детей.

– Ученики! – слышу за дверью, – сегодня у нас особенный день! К нам в гости пришел Александр Сергеевич. Я надеюсь, вы ему понравитесь. Покажите, что мы не зря занимались литературой, – мнется, не знает, что еще сказать. – Прошу вас, ведите себя хорошо.

Сам я еще не знаю, как буду себя вести. Жаба разбудил меня без пяти шесть. Сказал, что сегодня, или товара не будет. Куда мог деться его товар? Кому еще сейчас понадобится то, что спрятано в томике? Неужто у него поднялась бы лапа избавиться от него? Смешно. Слишком дорого она стоит. Это утро мне надоело. Я не выспался, мне хочется вернуться в свою каморку на седьмом этаже и уснуть, закутавшись в посеревшую от старости простыню. Не сорваться бы на этих деток. Они ни в чем не виноваты. Они ведь просто дети.

Трогаю пальцем зубы через несросшуюся щеку – там застрял кусочек шпината. Шпинат. Какое странное слово. Откуда я его знаю?

– Заходите, Александр Сергеевич!

Я вхожу. Два десятка детишек на нейростульях. Им не нужно писать. Им не нужны парты и книги. Все происходит в их обвешанных проводами, перемотанных изолентой очках. Это не укладывается у меня в голове. Я не знаю, как это работает. Мне неуютно от этих машин. Это просто не мое.

– Дети... – с ноткой строгости произносит женщина. – Что надо сказать?

Дети встают. Почти все они выше меня.

– Здравствуйте, товарищ Пушкин!

"Товарищ Пушкин" – повторяю про себя. Может, еще «Братец Пушкин»?

– Здравствуйте, – приподнимаю цилиндр.

– Александр Сергеевич пришел к вам в свой день рождения почитать свои стихи и ответить на ваши вопросы, – Фаина торопливо представляет меня, натянуто улыбается.

День рождения. Вот, значит, как? Я и забыл. А читать свои стихи. Я не знаю и половины. Мои стихи оказались по большей части редкостной дрянью. Надо что-то вспомнить. Жабба отвлекла меня, и я даже не подумал о том, чтобы заучить парочку.

Оглядываю класс. Их очки подняты, и десяток пар настроженных глаз следят за мной. Почему их вообще гоняют в школу, если все знания живут в их очках? Вижу на стене улыбающиеся портреты бородачей. И себя. Я смотрю на себя, носатый поэт смотрит на себя.

Училка выжидающе наблюдает за мной. Я не помню своих стихов. Оглядываю класс. Дети молчат, даже не перешептываются. Я молчу. Обычные дети. У кого-то веснушки, у кого-то прыщи. Девочек чуть больше, чем мальчиков. На переднем ряду все наблюдают за мной. Из задних рядов тянут шеи. Мне надо что-то сказать.

Она чувствует мое замешательство. Предлагает мне стул, но я отказываюсь. Мну в руках цилиндр, язык пытается пролезть сквозь дырку в щеке и облизнуть скулу. Того и гляди, снова начну жевать пальцы.

– Может быть, у вас есть вопросы к Александру Сергеевичу? – она пытается выручить меня, но выходит неказисто, будто она сама вдруг осознала, как нелепо мое присутствие.

Поднимается рука. Я задерживаю взгляд на девчонке. Светлые волосы, юбка с демисезонным напылением. Из-под нее торчат голые ножки в синих туфлях. Темные глаза, острый носик: ничего особенного. Строки сами всплывают в голове:

«Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б – наслажденье
Вкушать в неведомой тиши...»

Похоже, я произнес их вслух. Ну, хоть что-то помню.

– Татьяна, ты хочешь что-то спросить? – Фаина пытается сгладить неловкую паузу.

– Да. – Девчонка невозмутима. – Я хочу спросить, как Александру Сергеевичу живется у нас.

– Замечательный вопрос! Александр Сергеевич, вы не расскажете нам, как вы живете с тех пор, как вас... разбудили.

– Все бы ничего, только последнее время ноги немеют. И живот подводит. Духовности не хватает.

На самом деле, Духовности хватает. Только качество так себе. В первые годы мясо всегда нарастало на выдающиеся части тела: нос, уши, колени. А сейчас уже не помню, когда последний раз нос выглядел нормально – голых хрящ, и на том спасибо.

– Я наверстываю упущенное время, – я словно оправдываюсь перед девочкой, на что потратил выделенную мне народную веру, – Учю историю, читаю, иногда встречаюсь с товарищами.

Я сам немного удивлен, что у меня есть товарищи. Товарищи. Тьфу ты, сам уже заразился.

– А вы пишете стихи? – не унимается девчонка. Ее тугие хвостики вызывающе торчат над макушкой.

– «Забыл бы всех желаний трепет,

Мечтою б целый мир назвал -

И всё бы слушал этот лепет,

Всё б эти ножки целовал...»

– То есть пишете?

– Нет. Кажется, это что-то из старого.

– А новое будет?

– Не знаю. Я пытался, выходит хуже, чем раньше, – я силюсь улыбнуться, но наверняка выходит оскал.

– Зачем вы живете, товарищ Пушкин?

Самому интересно. Но так ответить я не могу, мне этого с рук не спустят. – Я живу, потому что того желает Русская Душа.

– Я этого совсем не желаю, если вам не нравится жить с нами, – говорит девчонка.

– Может, у тебя Русской Души нет? – сам уже который раз пробегаю взглядом по ее голым ногам.

– Есть! – она вздорно задирает голову и складывает руки на груди.

– Тогда зачем задаешь такие вопросы?

Ох как мне не нравится жить тут. С жабами и угрями. Ненавижу. Кажется, я зажевал щеку. Фаина, словно очнувшись, наконец вмешивается, пытается спасти остатки моего достоинства:

– Татьяна! Что ты себе позволяешь?! Может быть, мне стоит позвонить родителям? Они объяснят тебе, как проявлять уважение к старшим!

Девчонка бросает на училку короткий взгляд. Я почти ощущаю ее злость, но она перебарывает себя и произносит сдержанно:

– Прошу прощения, Александр Сергеевич.

– Извинения приняты, Татьяна. Вас ведь так зовут?

Она не отвечает, и Фаина переводит тему:

– Александр Сергеевич, один из наших лучших учеников хочет прочитать вам его любимое стихотворение. В смысле, ваше стихотворение, – она натянуто улыбается. – Я отговаривала его, но он настоял. Антон?

Пухлый мальчик встает во втором ряду, забирается на нейростул, повесив на спинку витки проводов и очки.

Я понимаю, что он один из немногих, кому я не уступаю ростом. Стул необходим ему, чтобы всем было видно. Пухляш поправляет овальные очки и начинает без вступления гнусавым голосом:

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрійского столпа...»

Кажется, я не знаю этого стихотворения. Толстяк продолжает:

«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире...
– Мой прах переживет и тленья убежит, – слова вспыхнули в мозгу и тут же погасли. Больше я не вспомнил ни строки, пока мальчик не закончил:

«...И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит».

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык».

Я морщусь, принесенное в жертву рифме слово режет слух. Надо же было так уродовать язык.

Пухляш продолжает:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И гнусно падших унижал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца».

Не буду оспаривать. Спасибо, мальчик.

К концу его голос словно прорвал пленку, затянувшую горло, стал звонким. Выкрикнув последние слова, он соскочил со стула и сел обратно, будто хотел убедить меня, что и не вставал вовсе. Потом, выждав чересчур длинную паузу, удостоил меня короткого взгляда. Я почесал нос, и на пальцах остался катышек кожи.

Фаина покраснела. Похоже, она решила, что стихотворение задело меня. Толстячку придется выслушать долгие увещевания о вещах, которых он не может понять, а эта темноглазая газелька на тонких каблучках отчего-то считает, что понимает. Я пользуюсь чужими образами? Газель, лань. Я

писал так когда-нибудь?

Чтобы не мучать ее, я задаю глупый вопрос:

– Скажите, Фаина, а газели сейчас существуют?

– Конечно! В зоосадах и усадьбах.

– А лани?

– Не уверена, Александр Сергеевич.

– Существуют, – это говорит с места пухляш. В его голосе звучит обида. Я не хотел обидеть мальчишку. – У моего папы в усадьбе живут лани.

– Антон! Сколько раз мы обсуждали вопрос социальной скромности? В следующий раз, когда тебе захочется выставить на показ достаток своей семьи, изволь выйти в коридор.

Толстяк смотрит на нее из-под полузакрытых век, словно Фаина – его утомительная пожилая тетушка, и объясняет:

– Я вовсе не хотел привлекать внимание distinguished коллектива к вопросу достатка моей семьи, а лишь рассказал Александру Сергеевичу, в каких условиях он имел бы возможность лицезреть лань.

Темноглазая лань хочет что-то возразить, но задыхается. Наверное, это ее худший урок.

Я кланяюсь и выхожу за дверь.

Меня догоняет девчонка с двумя хвостиками в демисезонной юбке. Она сбежала из класса. Вблизи она не такая уж маленькая. Налитая грудка под белой блузой, покатые бедра.

– Александр Сергеевич, я бы хотела побеседовать с вами. Могу я как-нибудь прийти к вам?

– Это будет выглядеть странно.

Если вы будете заняты, я сразу уйду.

– Сколько тебе лет?

– Скоро будет 17.

– Тогда ладно.

Она прищурилась, но ничего не ответила. Даже не улыбнулась. Серьезно кивнула и протянула мне клочок бумаги и ручку. Я коряво, размашисто вывел свой адрес: пальцы все еще плохо слушались. Вернул ей бумажку и вышел из школы.

Мне хотелось домой, открыть томик, оттягивавший карман, проверить свое сокровище, но я обещал к кому-то зайти. Точно помню, что обещал, но к кому?

Что-то случается.

Царь сидит на корточках ко мне спиной, острые колени торчат в разные стороны, кости скрипят при каждом движении.

Я вижу ошетинившиеся под кафтаном царские позвонки.

Он шуршит металлом в сундуке в нише позади трона. На каменном кресле ерзает зайчонок, шевелит ушами и жметяся в угол от гуляющего по залу сквозняка.

Я жду. Кажется, в тронном зале есть только одна дверь, а я стою у противоположной стены. Я вошел сюда только что.

На мне висит моя лучшая золотая цепь. Она тяжелая, спускается до груди по белой рубашке под распахнутым плащом. На ней знак: латинская буква S, а в ней два любопыт-

ных глаза.

Собираюсь с духом, чтобы дать о себе знать, но Царь сам поворачивается ко мне, распрямившись во весь свой гигантский рост. Два метра семнадцать дюймов – мелькает в голове.

В челюстях у него зажата собственная лучевая кость. Левый рукав из-за этого провисает.

– Все гниешь, Пушкин? – его голос звучит сухо, как пододбает голосу, рождающемуся в дыре между узловатыми ребрами. За его грудиной только звонкая пустота, резонирующая от натянутой на костях ткани кафтана.

– Гнию, Государь, – почтительно кланяюсь, придерживая котелок, язык сам собой скользит по рваной щеке. Мясо по краям мягкое и безвкусное.

Кощей вытаскивает изо рта кость и швыряет через плечо в сундук. Зачем?

– Ну?

Я молчу.

– Написал?

– Нет, Государь.

Кощей приближается ко мне, нависает. Я чувствую свою ничтожность и легкую усталость. Смотрю в черные глазницы снизу-вверх. Такие далекие, они обещают мне покой и затягивают в теплую пустоту.

Царь сидит на подлокотнике трона, постукивая белесыми костяшками по дереву:

– Плохой ты сомрад, Пушкин... Чувствуешь это? – он поднимает палец вверх и шумно втягивает воздух всеми отверстиями черепа. – Это Русский Дух голодает по славе.

Я ощущаю в воздухе только сырость и миндаль. Обоняние оттаивает.

– И ты его накормишь, потому что я тебе приказал! – продолжает Кощей, – напишешь славные стихи, и мы будем с тобой и всем народом еще век благоденствовать.

– Мне не нравится то, что я пишу, Царь. И то, что я уже написал, тоже. Негоже таким Русский Дух потчевать.

Кощей хмыкает сухим кашлем чахоточного старика:

– Да насрать мне, что тебе нравится, негр! Я заказал тебе славную оду доставить ко двору сегодня. А ты? – его голос звучит устало. – Видимо, моей просьбы мало. Малышка? – он делает в воздухе росчерк кончиком указательного пальца, и к моему лицу с потолка спускается на тончайшей нити крошечный черный паук.

Он протягивает лапку и касается моего изуродованного носа, чтобы остановить покачивание. Я замираю, скосив глаза на малютку. Восемь черных бусинок без всякого выражения обещают мне тысячу лет в коконе. Я отчего-то всегда знал, как это будет: холодно и скучно, но конкретика ускользает от слепых щупалец памяти, оставляет им лишь лягушачью шкурку тоски, с которой и не сделаешь ничего, пока не перестанешь о ней думать.

Государь снова поводит пальцем, и малютка проворно

взбирается по нити обратно в тень в завитках потолочной лепнины. Наваждение улетучивается вместе с ним, оставив едва-ощутимое пыльное послевкусие.

– Ода, Пушкин, – почти нежно говорит Кощей. – Постарайся. Для меня.

Начинает темнеть. Дневная хмарь сменилась зернистыми сумерками. Я пытаюсь нащупать часы в кармане плаща, но они все время выскользывают из негнущихся пальцев.

– Какой сегодня День? – спрашиваю у Татьяны, идущей рядом. Она удивленно вскидывает бровку, смеется:

– Вторник. – И продолжает свою незаконченную фразу:

– Ничего сама не может. Для нее родители – единственный рычаг влияния. Батюшке написать, матушку побранить – вот это ее подход, чтобы дитяtko послушным стало. Благо мои давно подошли.

Похоже, речь о ее учительнице, Фаине, но я прослушал начало рассказа. К чему она это? И сколько же все-таки времени? На туманной набережной нет ничего подходящего.

– И что будет после? – спрашиваю ее, лишь бы поддержать разговор.

– После? – она переспрашивает и хихикает, будто я спросил о чем-то вульгарном, и затем поясняет слегка печально, – Не думаю, что после настанет, Александр Сергеевич.

– В смысле? – я силюсь вспомнить, когда и о чем спросил ее.

– Мне кажется, я учусь в Лицее вечность, и никогда его

не закончу. А думать о том, что же будет дальше, смешно, и вообще – непозволительная роскошь.

– Куда ж ему деться, этому после, – я отвечаю сухо, хотя внизу живота от ее слов повернулся липкий комок понимания.

Мы идем по мощёной набережной спокойной реки. Такой широкой, что другой берег тонет в дымке. А по правую руку гиганты городских построек скребут зыбкие облака.

– В ничто, – отзывается Таня после паузы.

Мимо нас изредка проезжают черные коляски с зашторенными окнами. Лошади послушно текут медленной рысью, не тронутые ни вожжой, ни кнутом.

– Вы сказали тогда, что вам не нравится жить здесь, Александр Сергеевич. Почему?

На ней та же юбка выше колена и белая блузка. Сочная попа, моя отрада того паршивого денька, куда-то делась. Девушка вытянулась и постройнела с тех пор, как я приходил к ней в класс, будто это было уже очень давно. Дерзить она так и не перестала. Но это мне нравится.

– Мне не нравятся угри и жабы, я уже говорил.

– Вы только подумали, – снисходительно улыбается Таня.

– Да и от себя я не в восторге, – поворачиваю голову так, чтобы ей был виден обрубок носа, рваное ухо и дыра в щеке.

– Но вы же гений! – мои уродства не стоят ее внимания. – Вы пишете великие стихи!

От слова «великие» на меня накатывает тупая ломота в

мышцах, и я морщусь. Я забыл, что все еще говорю с ребенком, и теперь начинаю чувствовать досаду за потраченное время. Трачу, и даже не могу выяснить, сколько его осталось.

– Я оживший идол, девочка. Твоими стараниями, между прочим, и других таких же дурочек, как ты:

«Мой витязь в ветреной строке

К строке царевны примыкает

И вот уж нежная роса

Бедро девичье обнимает...»

Пока ее ладонь приближается к моему лицу, я успеваю подумать, что она наверняка делает это впервые. Размах чересчур медленный, пощечина не будет сильной. Пальцы напряжены и даже чуть выгнуты в обратную сторону. Хлоп! – звук тонет в дымке, а удара я даже не чувствую. Хлоп! – Она отступает от меня и, улыбаясь одной стороной рта, наблюдает за реакцией. Я соображаю, что она просто хлопнула в ладоши. Хлоп! – кажется, мое ворчание веселит ее.

– Да полно вам. Русский Дух благодаря вам живет и нас всех благодатью одаривает. И, к тому же, поэзия – это действительно прекрасно, вне зависимости от вашего внезапно-го цинизма:

«...Но притворюсь я! Этот взгляд

Все может выразить так чудно!

Ах, обмануть тебя не трудно!...

Ты сам обманываться рад!»

Хитро щурится:

– Да как вам может не нравиться? Говорят, при жизни вы писали постоянно.

Я сам обманываться рад.

– С чего ты взяла, девочка, что это был я? Тогда, давно.

– А кто же это еще мог быть? Откуда бы вы тогда взялись? Да и Царь-батюшка, волею народа возвращенный к жизни, помнит, как великим государем в старину был.

– Чего ж он тогда плоть и кровь свою не вспомнит?

– Ой, господь с вами! – Таня неискусно машет на меня руками, – такие вещи страшные говорите. А коли услышит кто? – и все щурится хитрым глазом.

– Кто услышит? – я оглядываю набережную. Булыжники, гранитный парапет, громады домов, туман и улочки, уходящие в городской полумрак. – Давно бы уже в сетях болтался, если бы меня еще кто-то слушал. Эй! – кричу куда-то вверх, и прислушиваюсь к эху, которое словно возвращает мне само низкое масляное небо. – Есть кто?

– Вам только скальпы целехонькие подавай, – в голосе Тани укор, – У Государя, может, и не достает чего, но свое дело он знает.

– Монеты в казне грызть, да Русский Дух кормить пусто-словием?

– Ну, не всем же стихи писать, – она берет меня под руку

и увлекает дальше вдоль набережной.

Почти стемнело, я еле различаю контуры домов, фонари никто не зажигает. Нас сопровождает ритмичный стук. Цок-цок стук-стук, в такт нашим шагам. Это длинный зонт в моей руке отсчитывает каждый шаг.

Проходит время, и Татьяна спрашивает, аккуратно подбирая слова:

– То есть если бы вы могли, вы бы предпочли умереть?

– Я бы определенно предпочел не существовать вовсе;

– И смерти не боитесь? Ничто навек и древний грек?

– Не боюсь, потому что нет ее для меня.

Вижу перед глазами жабью харю, лоснящийся растянутый рот, в который я всадил стрелу.

– Жизни сейчас нет, и смерти не будет. Погаснет разум рано или поздно, износятся кости, забудут люди или Всадники, наконец, соблаговолят тут все подровнять – и кончится все для меня единственным вопросом «А зачем это было-то?».

Только одно великое дело мне и предстоит, им и живу, но этого ей говорить не стоит.

– Могущество Отечества на вашем величии зиждется, – Таня театрально поднимает пальчик вверх, но отчего-то мне кажется, что на этот раз она говорит серьезно. – Будто не знаете: «Покуда Дух Русский Словом великим накормлен, и Верой народной напоен, незыблемо Отечество стоит под мудрым Государевым взором».

– Даже будь оно так, мне-то до этого какое дело? Меня не

спросили, хочу ли я это чудо подкармливать. Обязательно надо было ему мой труп облизать? И Государев тоже? Что, среди живых нет достойных поэтов и правителей? Да и не Дух словом кормится, а народ. Веры у них полно – не знают, куда девать: то лешего себе заведут, то вражину заморскую злющую, то стихосложника издохшего. Тут и подворачивается народу Слово великое. Какое из воздуха словят, из корыта выудят, тому и хайп, туда и скачут и молитвы о том возносят. А кто понял слово, как понял, и кому толковать взялся – дело ветра и Государя-батюшки мудрым Словом народ направить. И не дай бог моим это слово будет – все равно что дочь с гусарским полком поварихой отправить, снарядив отеческой любовью и наследственным сифилисом...

Татьяна резко останавливается, не отпуская моей руки, и мы оказываемся лицом друг к другу. Она смеется:

– Вы сейчас так инфантильно рассуждаете, Александр Сергеевич, что мне страсть как захотелось вас поцеловать. Можно?

Я должен бы ответить, но не могу, потому что за ее спиной вижу себя. Я в черном плаще и котелке стою чуть поодаль и демонстрирую себе собственное лицо, молочно-белое, поросшее трехдневной щетиной, без малейшего изъяна. Я смотрю на него так пристально, что лицо начинает наплывать на меня, занимает все поле зрения, ближе, ближе, касается губами моих губ. Я невольно отвечаю на поцелуй и обнаруживаю, что лицо передо мной принадлежит Татьяне,

которая целует меня, прикрыв глаза.

Наваждение рассеялось так внезапно, что я вздрогнул, а Татьяна отпрянула от меня. За ее спиной были только провалы улочек, убежавших в чашу высоток, и никого больше.

– Вам не хотелось? – в ее голосе слышу обиду. Я не понимаю, притворная или искренняя.

– Прости, девочка, – мямлю я, все еще рыская взглядом поверх ее плеча в поисках белого господина. Привиделось? Мозги гниют? Или кто подшутить решил?

Смотрю Тане в глаза. Смотрю так же пристально, как во мрак улочек, будто и в них может прятаться белесое лицо, но в ее зрачках не отражается даже моя собственная рваная харя:

– Прости, я очень давно не...

Ее ладонь закрывает мне рот, не дает закончить, при этом большой палец проскальзывает через щеку и касается зубов. Благо, с этой стороны они целы. «Было бы неловко» – думаю. Хотя и так достаточно неловко.

Погладив мою челюсть, девушка отпускает меня, снова берет под руку и тянет дальше. Мне нечего делать, кроме как повиноваться. Мы идем по набережной молча, кажется, очень долго, а потом она говорит непривычно деловым тоном:

– Я обещала вас кое-кому представить, товарищ Пушкин.

Каменные стены бликуют от красноватого света. Ступеньки убегают куда-то вниз. За нами, глухо звякнув, закрылась

массивная дверь, а другая, вся из матового стекла, тут же проступила впереди, там, где раньше был только полумрак. Татьяна толкнула ее и проскочила внутрь. Чтобы удержать закрывающуюся створку, мне пришлось выставить обе руки и навалиться всем весом.

За дверью оказался широкий коридор со сводчатым потолком. Сквозь дымный воздух пробивался все тот же мягкий красноватый свет, хотя я не заметил ни одного светильника. На лавках вдоль стен сидели люди, одеты в камзолы и легкие дорожные плащи. Кто-то стоял, привалившись к обшарпанным стенам.

Когда я двинулся вглубь коридора, несколько голов повернулись в мою сторону, но никто меня не окликнул. Люди тихо беседовали или молча курили. Пахло табаком и еще чем-то сырым и кислым.

Я принимаюсь, но слышу только Голос. Кажется, он звучал здесь всегда, не умолкая. Стоило услышать его раз, как происходящее обрело смысл: все присутствующие внимали ему, кивали в паузах, или тяжело вздыхали, соседи делились сухими замечаниями. Однако как я ни вслушивался, суть звучащих слов ускользала от меня, будто оратор страстно говорил на языке, который лишь похож на русский.

Попытавшись сосредоточиться, ловлю себя на том, что чем больше прилагаю усилий, чтобы понять Голос и его природу, тем мутнее становится красное марево, тем схематичнее фигуры людей вокруг, и сам незримый оратор будто от-

дается от меня. Опасаясь утонуть сознанием в текущем голосе, я двигаюсь дальше, к проему в левой стене. Из проема выплывают лучи света. В его мерцающей игре на клубках табачного дыма мерещится движение теней. Быть может, они разыгрывают то, о чем говорил Голос. Но и в их пляске я не могу уловить ничего знакомого.

Завернув за угол, я очутился перед рядами людей, стоящих спиной к проему. Их внимание приковано к бородатому человеку. Он потрясает кулаком с невысокой сцены на противоположном конце зала. Его Голос то срывается на крик, то падает до шепота. Мне видно, как из его рта вылетают брызги слюны, оседая на всклокоченной бороде и цилиндрах ближайших слушателей. Люди так жадно глотают каждое слово говорящего, что ни один не повернулся на звук моих шагов.

Смысл речи бородача по прежнему недоступен моему пониманию: я слышу только очереди рваных звуков.

Я уже сделал шаг вперед навстречу колышущимся плащам, когда цепкие пальцы ухватили меня за локоть и увлекли к стене. Татьяна коснулась пальцем своих пухлых губ и повела меня по кромке толпы, стройной рыбой просачиваясь между фигурами, а я то и дело задевал людей плечами, неуклюже волокомый, словно грузило на оборванной лесе, от которого рыба желала бы избавиться, да не может, и тащит, и тащит его по коряжистому речному дну – так плотно в губе у нее застрял беспокойный крюк... «Прошу проше-

ния», «позвольте...», «Неу, тап...» – а головы в черных цилиндрах поворачиваются, провожая меня без укора и любопытства, и в чередe мужчин и женщин мелькают угри и жабы, и даже одна курица. – «Пропустите», «Побеспокою...». А глаза их темны как вода в глубинах ночного омута, и встретившись взглядом с одним хочется нестерпимо ухнуть туда до дна и освободить рыбу от тяготеющего грузила и остаться навеки, ибо вода тепла как в материнской утробе, но рыба только безжалостно тащит дальше от глаз к глазам другим, от полыньи к полынье, обрекая на новый круг, словно вовсе не она на крючке, а я. И все дальше и глубже, пока я не запнулся и не ухнул в дрожащую тьму под звон оборвавшейся лески и не коснулся рукой кулисной портьеры, куда привела меня Таня.

– Слушай! – шепчет мне в ухо она и жарко дышит где-то рядом, а речь бородача вдруг обрушивается на меня со всей мощью его сотрясающего воздух кулака, и я понимаю теперь каждое слово, которое произносит Голос:

– Я чувю это, – он говорит без пафоса, будто все это само собой разумеется. – Вы чуετε? Я чувю! Сладкий душок забирается в нос и тревожит меня. И вас тревожит. И вы знаете, в чем дело, люди. И я знаю. Мы чуем: это он гниет! – рычит Голос.

Я выглянул из-за портьеры: тощий мужчина шагает по сцене, то и дело вздрагивая всем телом в такт своим интонациям. Заплеванная борода топорщится, руки безостановоч-

но плетут в воздухе сложный узор жестикуляции, толпа внимает, не отрывая взглядов от оратора.

– Вы слышите? Слышите это жужжание? – он умолкает, оставив залу на миг звенящую душную тишину, в которой я ощутил древнюю... древнее выхода на сушу первой жабы... древнее разделения видов... первородную животную близость с каждым существом в зале. Такую древнюю, что родиться могла она только в миг, когда Бог обмакнул в океан палец и сказал Слово, навсегда лишив мир тишины. И так яростно противилось наше естество этой внезапно повисшей тишине, что зал зажужжал сам собой, сначала робко, потом громче и громче, и я вместе с ним силился заполнить пробудившееся Ничто, пока Голос вновь не зазвучал спасительной благодатью:

– О да, вы слышите! Это мухи... Мухи жужжат и роятся... роятся! Роями слетаются к Русскому Духу, ибо он мертв!

Толпа задыхается. Кто-то истошно верещит.

– А кто в наше время не мертв или таковым не притворяется? – мужик заговорщицки подмигнул мне и вошел в гри-мерку.

Его голос теперь звучит иначе: мягко и чуть иронично, будто он сам смутился непримиримости своей отгремевшей речи.

Мы с Таней последовали за ним после приглашающего жеста. В комнате обнаружили три табурета и дверь, истерич-

но забитая наискось двумя досками. Ни стола, ни зеркала. Мы уселись на табуреты. Я почувствовал, что мой колченок и покачивается подо мной.

За стеной понемногу спадал гул, вызванный словами бо-родача.

– Видите ли, речи графа часто рожают двойственные чувства, – поясняет Татьяна то ли мне, то ли самому графу.

– Да ну?! Дура неразумная, – отмахивается он от нее.

Его лицо все прорезано глубокими длинными морщинами. Они делают его строгим и старым, хотя по сцене мужик двигался с легкостью молодого парня. – Умная больно. В аналитику заделалась.

Татьяна только смеется:

– Граф изволит быть вредным, когда ему делают комплименты.

Он качает головой и обращается ко мне:

– Приятно посидеть на моем табурете, Александр Сергеевич... Граф Тоших. Федор Тоших, – протягивает мне могучую жилистую ладонь. «А отчество?» – думаю про себя. Мое запястье плаксиво хрустит в его лапе, явно не чуждой ручному труду.

– Не помню отчества, – отвечает старик, хотя я совершенно точно ни о чем не спрашивал. – Теплое такое было, шерстяное, а теперь уж забылось.

Я откинулся назад, пытаюсь осмыслить его ответ, и опасно покачнулся на стуле. Похоже, настал мой черед:

– Зачем вы говорите это людям?

– Хочу спасти Русский Дух, зачем же еще?

– Зачем же вы говорите, что он мертв?

– Метафора сильнее, людям понятнее, – Тоших отвечал так, будто и это, как и вся его речь, было само собой разумеющимся и обсуждения явно не стоило, – как умер так и воскресим. В умах, – он постучал себя по лбу корявым пальцем.

– Граф, – от его слов, а, скорее, от того, с какой тягучей неясной интонацией он их произнес, мне становится не по себе; я оглядываю комнату. Это место было бы отличной западней, если бы у кого-то мог быть хоть малейший стимул меня ловить. – Граф, я не понимаю: вы затеваете переворот и готовы так легко меня посвятить в свои планы?

Он хохотнул, и голос его вдруг стал холоднее:

– Видите ли, – начинает граф, нарочито передразнивая Таню, – вы просто никуда не денетесь и ничего не сможете сделать дурного для моего небольшого дельца. Тем не менее, вы мне необходимы.

– А если... Не имею в виду, что собираюсь это сделать, просто спрашиваю, – на всякий случай уточнил я, и собеседник понимающе кивнул, – Если я прямо отсюда отправился бы к Государю и доложил ему о ваших проповедях?

– А что вы, Александр Сергеевич, крыска что ли? – внезапно подала голос Татьяна и противно пискнула, подскочив на своем табурете.

– Помолчи! – рыкнул граф. – И откуда эта баба понабра-

лась такого дерьма?

– Действительно, граф, откуда? – переспросила она, и в ее голосе мне послышались вместе вызов и нежность. – А меня и впрямь не слушайте, Александр Сергеевич. Мне просто захотелось поддеть графа его былыми нравами.

Забитая доской дверь отчетливо поскреблась, и Тоших весь разом напрягся, обернувшись к замурованному проему. Эта внезапная перемена не вязалась с расслабленной манерой, которой он держался на протяжении нашего знакомства, и мне захотелось спросить, что же его так встревожило, но звук не повторился, и он опередил меня:

– Государь Батюшка давно обо всем знает, все и без вас ему доносится. Только вот его любовницы сюда не добираются, а без них что он сделает? Кость в меня бросит?

– Предположим, до вас он не доберется, – во мне поднялось раздражение, – а я? Если он о вас знает, то и о нашей беседе узнает. – По пищеводу скользнуло смутное осознание того, что будет, когда Кощею доложат о нашей встрече. – Вы же меня сейчас просто подставили, и... – десятки суставчатых лап слаженно задвигались в моем воображении, кропотливо пеленая меня в белесый кокон, и я разом сник, будто силы ушли куда-то, и не было уже смысла спорить и ругаться, и вообще, лучше бы оно все поскорее закончилось, – вместо окончания гневной тирады я только рукой махнул.

– Экий вы шкурник, оказывается, Александр Сергеевич, – отозвалась Татьяна с уже знакомой интонацией, искренность

которой я все не мог определить. – А говорили, «жить не хочу», «не существовал бы вовсе». И смерти, говорили, не боитесь, ибо нет ее для вас. А теперь как девица раскричались, когда еще ничего вам не объяснили даже.

Вроде все теперь благоволит моему большому делу. Кто как не Тоших проведет меня туда, где мне понадобится мой заветный томик? Но слишком внезапно случилось это знакомство, и не знаю, как отреагирует Кощей на то, что я нюхаюсь с его врагами, а ведь он все обязательно узнает. Он всегда все знает, всеведущий паучий король.

Мое сознание плотно заняли кощевы жены, которым он прикажет меня спеленать на тысячу лет, чтоб бунтовать неповадно было, и отвечать не было никакого желания. Я посидел немного тихо, а потом спросил, кто может скрестись из-за заколоченной двери.

– Пауки и скребутся...

Я вижу, как медленно и беззвучно гвозди вылезают из своих гнезд, так же бесшумно одна за другой падают на пол доски, дверь отворяется внутрь комнаты. «Нерешительно, как от весеннего сквозняка» – думаю я и не двигаюсь с места. Из проема показывается мохнатая паучья лапа, хотя по размерам она могла бы принадлежать матерому волкодаву. Другая уже зацепляется за стену и подтягивает внутрь толстое коричневое тело: восемь умных глаз и хелицеры, с которых капает на шершавый бетон густой темный яд. Внутри будто кто-то наматывает мои кишки на вилку и аккуратно вса-

сывает их ртом. Мне так страшно, что я не могу заставить себя бежать, только обреченно смотрю, как за первой тварью появляется следующая, потом еще. Вторая перебирается на стену – они не спешат, они подбираются ближе, мерно переставляя членистые лапы: тук-тук, тук-тук. Вокруг тихо. Только эти тук-тук, а из проема появляются все новые пауки, и некоторым приходится уже свеситься с потолка, чтобы дать место собратьям.

Меня тошнит. Татьяны и графа больше нет в комнате. Есть только я и они, и они все ближе, ближе, а я подаюсь вперед: пусть разорвут на куски, пусть жрут, пусть спеленают, только бы не видеть этих нежных бусинок-глаз, только бы не ждать так долго.

Их много, и не ясно уже, где твари, а где их тени, зыбкие и мутные, подстать хозяевам. Я вижу себя со стороны: сутулая фигура под покачивающейся на проводе лампочкой. Единственный, у кого нет тени. Пауки втекают внутрь, равномерно заполняя пол, потолок и стены. Я, сидящий на стуле, не могу оторвать взгляд от того, кто первым вполз внутрь. Он так и остался напротив меня, не уступая никому места. Мой милый, мой ласковый, мой палач. Он все ближе, тук-тук, первая правая, четвертая левая, вторая левая, третья правая, тук-тук, нас разделяет метр. Я бы кинулся к нему от колотящего меня ужаса, но стоит мне сдвинуться с табурета, и у меня появится тень, а иметь сейчас тень еще страшнее, чем ждать.

Паук замирает, четыре глаза над челюстями, по два выше, там, где я бы ожидал увидеть глаза у собаки; все восемь смотрят. Просто смотрят, а я смотрю на тварь и перестаю дышать. Кто-то доел мои кишки – в животе сделалось пусто, и нет уже вокруг комнаты – только копошащиеся мохнатые тела. А паук поднимает, наконец, ногу, направив заостренный конец мне в лицо, словно указывает собратьям на мой страх и позор, обличает меня в моем подлом замысле, о котором пока только я знаю, и тянет ее ко мне так невыносимо медленно, что я уже чувствую в груди боль от нехватки воздуха, и приходится вдохнуть еще разок, хотя тот прошлый вздох всей своей сутью сообщал, что он последний, и я уже с ним согласился. А лапа все тянется, и я могу разглядеть отдельные волоски на шершавом хитиновом панцире. Ближе, ближе, вдруг хруст – паук проворачивает свою конечность, и она становится похожа на тянущуюся в немой просьбе руку нищего. И весь я обращаюсь в один смолистый ужас, коплю в себе силы кричать, когда тварь коснется меня. Но вот волоски щекочут мою щеку, раз, другой:

– Не бойся, сын, я с тобой; – и гладит меня по здоровой щеке; и сил кричать конечно нет, и пауков больше нет, а есть только Таня, она улыбается и гладит меня по щеке, и спрашивает, все ли в порядке, и в голосе ее я слышу тревогу, а рядом на табурете сидит граф Тоших, и его рука ободрительно похлопывает меня по плечу, а я только судорожно сглатываю и моргаю.

– Замерзнешь, Пушкин, – граф ухмыляется в бороду. – Да и невежливо это, в гостях дремать.

Лампочка покачивается на гнущем проводе, покрывая неровным светом шершавые стены. А я смотрю на дверь и вижу, как медленно и беззвучно гвозди вылезают из своих гнезд...

– Александр Сергеевич! Когда вы спали в последний раз? Таня участливо заглядывает мне в глаза.

– Что произошло? – спрашиваю.

– Вам, кажется, плохо, Александр Сергеевич. У вас глаза бегают и руки дрожат.

– Брось, Татьяна! Что ты кудахчешь? – говорит граф Тощих. – И гении иногда сновидят.

Я не уверен, спал ли я когда-нибудь. Точно не так. Все было как наяву.

– Так вот, на чем мы остановились? – торопливо продолжает граф. – Видите ли, Пушкин. Моему плану по спасению Руси-матушки очень не хватает гения. Чтоб мог сотворить Истину, и пробудить Дух Русский, и усмирить его для дела праведного. Впрочем, – добавил он, подумав, – Господин Б скажет, что «Истина» тут неуместна, уже Слово было, и Голос был, поэтому давайте назовем ваш шедевр хоть «Пиздою на палочке».

Таня нахмурилась, но промолчала.

– Федор... Могу я вас так называть? – я обдумываю то, что стоит сказать. Мне нужно это знакомство, это большая

удача. Но я должен быть осторожен.

Он удовлетворенно кивнул.

– Даже если бы я понимал, к чему все это, даже если бы сочувствовал вашей затее и сумел теперь скрыться от глаз Государевых, даже если бы мог я сбежать из тысячелетнего плена у заботливых жен Кощея, я все еще не родил бы и строчки того шедевра. Потому что за семь прошедших лет, что я тут болтаюсь, мне понравился только один стих, только что. Он написан на стене у вас за спиной:

«Все затеи терпят крах,

Повернулся – сам дурак».

Но граф не повернулся, а внимательно наблюдал за моей тирадой.

– Вы можете написать прозу, – невозмутимо возразил Гоших. – А можете картину нарисовать. Мне нужны не вы, Пушкин, а гений. Ему, как и мне, нет дела до ваших капризов. И ваш гений обязательно сотворит шедевр, хотите вы этого или нет.

– Вы говорите один в один, как Кошей, – устало отмахнулся я. – Ему тоже оду подавай. Гениальную. И если между вами никакой разницы, то зачем мне вам помогать? – Эта позиция показалась мне настолько исчерпывающей, что я позволил усталости завладеть собой, прикрыл глаза, но тут же вздрогнул, вспомнив о пауках.

– Что-то странное со мной.

– Здесь, внизу, мой любезный друг, мы прячемся в заво-

дах безумия. Сюда не добираются Кошечевы жены, но стоит чуть расслабить разум – и тебя вынесет на стремнину, как ослабевшую рыбу, которой больше не в мочь стоять против течения. «Опять рыбы» – подумал я. Все рыбы, везде скользкие рыбы.

Граф поднялся с табурета и прошелся вдоль стены, ведя ладонью по сыпучей штукатурке:

– А касательно вашего вопроса, Саша. Законы этого мира, – он обвел рукой пустую комнатку, – не позволяют мне раскрыть тебе прямо сейчас весь замысел. Однако у меня есть для тебя аргумент. Видишь ее? – тычет в сторону Татьяны узловатым пальцем. – Она на моей стороне. А она баба неглупая, хоть и дура.

Я пристально посмотрел на Таню, она молчала и так же внимательно наблюдала за мной. Щелк – вместо ее головы я увидел жабью морду, щелк – только черноту. Щелк – все стало на свои места.

– Вам пора уходить, – заботливо произносит Татьяна.

– Неподготовленному разуму, какой бы природы он ни был, тяжело тягаться с тем, что за этой дверью, – граф кивнул на заколоченный проем. – Иногда из него такое вылезет – приходится и мне порой уступать.

– Вы же сказали, что пауки оттуда скребутся. А еще сказали, что сюда они не добираются.

– Вы, Александр, застряли на поверхности. Где вниз-вверх-вправо-влево – всюду путь есть, и в крайности не уда-

рываетесь – оттого и чахнете. Живете себе: по городу погулял, за столом посидел, пером помахал, ко школьницам на огонек зашел. И из ужасов встречали только жен Кошцевых. Только таких Arthropoda и видели. И думаете, наверное, что страшнее их нет никого?

Он выделил латинское слово, и меня передернуло от воспоминания о комнате, полной пауков.

– Не готовы вы пока к той встрече, которой так жаждете, Пушкин.

Я вздрогнул: намек? Такой прямой? Что он знает о моем деле?

– Бросьте, Саша, – всякая разумная тварь этого жаждет, заглянуть в глазки своему создателю. Meet your maker, как сейчас модно говорить.

Я чуть расслабился: не знает. Или делает вид, что не знает. Догадывается. Захотелось ощупать томик своих стихов во внутреннем кармане плаща, но одергиваю себя. Вопреки собственному скептицизму, я почувствовал, что верю старику, – про тех, кто живет за дверью, и про то, что не готов ко встрече. Нам всем нужно время.

– Почему же вы не заложите проем кирпичом? – стараюсь не дать себе снова влипнуть в паутину видений.

– Маскировка так лучше. Слились с недрами Родины-Матушки, и не видно нас. Ну и дверка эта для нас, хе-хе, запасный выход. Скоро придется нам ее круглые сутки нараспашку держать, как жарче станет. Правда, Татьян? Бульк – и нет

никого.

Граф вскочил, сложил руки над головой лодочкой, разбежался, в прыжке пробил доски и рыбкой исчез в черноте.

Таня только пожала плечами.

Через несколько мгновений в проломе появилось его лицо, с длинных мокрых волос текла вода:

– А теперь вам совсем пора, Александр Сергеевич, пока вы не потерялись окончательно, – настойчиво произнес граф. – Мы еще свидимся...

Лавочка на траве у деревянного забора. Я сижу под фонарем. Единственный фонарь в округе, впереди только силуэты деревьев. Приходится размять пальцы о колени, согнуть их с усилием, разогнуть обратно, чтобы потом сделать это самостоятельно.

Холодно, и суставы деревенеют. Я долго рассматриваю свои кисти – они резко очерчиваются под рассеянным светом, и на иссеченной морщинками коже оседает водяная пыль, снующая в воздухе.

Распухшие пальцы натужно хрустят.

Мне требуется время, чтобы залезть во внутренний карман и достать вожделенный томик. Он приятно греет руки, и я не тороплюсь его раскрывать. Потертый кожаный переплет умещается в ладони; и не толстая вроде, но увесистая, будто есть в книге что-то особенное. Мои стихи. Мои творения, за одно существование которых я чувствую стыд и, наверное, страх, но его природа тонет в бессвязных образах:

я протягиваю кому-то книгу двумя руками, получаю ее назад из чьих-то пухлых рук, опять протягиваю, опять ее берут, и мгновением позже она вновь лежит передо мной на изрезанной надписями парте. А рядом девушка купается в фонтане, хохочет, подставляя грудь пенной струе, косится на меня и ловит ртом капли.

Старик пыхтит у меня за спиной, положив тяжелую ладонь мне на плечо, а я весь съёживаюсь, прикрывая косые, загибающиеся книзу строчки на полях тетради.

Между страниц томика великая сила спрятана. Для большого дела.

Старик только дышит тяжело, но говорит беззлобно: выйди-ка вон из класса, Пушкин. Я поспешно сгребаю книжку в охапку, прижимаю ее к груди и, сутулясь, семеню прочь от лавочки под фонарем. Придушенная гордость велит не оглядываться и покинуть класс молча.

Хлоп – дверь закрывается за мной слишком громко, и я секунду пережидаю эхо, сжав зубы, а потом бегу подальше в чащу деревьев, не потревожив ни одной ветки, будто стал бесплотным призраком. Тропинки ветвятся, угадываясь прорезями в темном массиве кустарника. Я поворачиваю то на одну, то на другую, спускаюсь в овраг, ощущаю через сапоги узловатые корни деревьев. Тропинка сворачивает.

Черные стволы расступаются, и я оказываюсь на краю поросшей высокой травой поляны. Впереди маячат очертания дома – не то избы, не то флигеля. Полумрак не дает разгля-

деть постройку: ее контуры сливаются с колышущейся стеной леса.

Чувствуя неясную настороженность, я щурюсь и не двигаюсь с места, пока глаза адаптируются к темноте. На небе как назло ни луны, ни звезд, а странная избушка, кажется, покачивается вместе с верхушками деревьев и поскрипывает на ветру.

Смутное чувство, скопившись в груди, просачивается вниз по хребту тонким ручьем тревоги. Мне хочется развернуться, но мысль о позорном возвращении в класс отвращает так сильно, что я делаю шаг вперед, другой – к избе. Глаза постепенно выхватывают из темноты ребристые контуры бревен и покосившийся скат крыши.

Делаю еще несколько шагов и вдруг отчетливо вижу, как ветер топорщит кровельную солому, словно пух, ворошит ее, и вся постройка ерзает под натиском холодных порывов и жметя к лесу. Меня передергивает от предчувствия чего-то недоброго.

Шаг – и к тревоге добавляется густой сладковатый смрад.

Я затыкаю ладонью дырки в лишенном коже хряще и придвигаюсь еще ближе.

Теплая вонь разливается вокруг кособокого домика, забирается в рот. Смесь мочи, гнилой соломы, птичьего помета и чего-то паленого собирается в дух человеческого жилья. Пусть отвратительный, тошнотворный, но невыносимо уютный, он сообщает о жизни, что поглощает, переваривает и

испражняется где-то рядом; и тревога перед холодной пустотой брошенного дома понемногу отступает.

До стены осталась пара метров, я собрался с духом и преодолел их, прижался спиной к покатым бревнам. Став со стеной одним целым, я явственно ощутил ритмичные колебания, прерываемые легкой дрожью. Дом дышал и зябко ежилась под порывами ветра. От бревен веяло теплом, а вонь стала такой густой, что я просто вдохнул поглубже, дал ей залить легкие, подавил рвотный позыв и разом свыкся.

Положив ладонь на бревно, я двинулся вдоль стены, чтобы найти окно или дверь, но на этой стене их не оказалось. Тогда я завернул за угол, прошел вдоль другой стены – более короткой – к лесу, но и там не нашел проема, через который можно было бы попасть внутрь. Третья стена почти вплотную прижалась к деревьям, и мне пришлось протискиваться в узкие зазоры, чтобы исследовать ее, однако дверь так и не обнаружилась.

В какой-то момент, оказавшись между шершавым стволом и его замурованным в братскую могилу собратом, я явственно ощутил, как стена надвинулась на меня, грозя расплющить, и тут же схлынула обратно. Будто ничего не случилось. Вдох – выдох.

Я быстро прошел вдоль последней стены, заранее зная, что она не отличается от предыдущих, и вернулся к тому месту, с которого начал.

Растерянность вытеснила остатки тревоги, и я легонько

постучал по бревну. Прислушался. Только скрип и мерное покачивание. Я постучал сильнее: эффект тот же. Задумавшись, я облокотился на стену и попытался поймать ритм дыхания: протяжный скрипучий вдох, долгий шелестящий выдох, будто шероховатый воздух цепляется за складки легких.

Я прикрыл глаза и дал себе немного отдохнуть. Под защитой стены было уютно, ветер не добирался сюда, поглощенный терзанием нависавшей надо мной соломенной крыши. Вдохнуть – выдохнуть, только и всего.

Вдруг избушка вздрогнула сильнее обычного, и локоть, на который я опирался, провалился в щель между бревен под моим весом. Я отпрянул, уютного оцепенения как ни бывало. Бревна изогнулись, образовав дыру, из которой на меня уставилась живая чернота.

Я попятился, запнулся о кочку и повалился л в траву, а дыра издала гулкий победный клекот.

Не дав мне времени встать, дом вдруг оторвался от земли и закачался на двух нелепо тонких искореженных ногах. Я начал отползать под защиту деревьев, все еще прижимая к груди кожистый томик, но изба проворно прыгнула, впечатав трехпалые лапы рядом с моей головой, и с размаху уселась на меня.

Совсем не больно. Даже приятно.

Я утонул в соломенном брюхе, везде была теплая сухая трава, мягкая. Я улегся на бок, подложил под голову смятый цилиндр и прикрыл глаза. Осталась только баюкающая тем-

нота, в которой я мог, наконец, отдохнуть. Отдаться бы ей, укрыться пальто с головой и дремать вечно. Так хорошо, но эта рука... Она все шарит в моем коконе, хватается за полу пальто, тянет, щиплет, что-то ей все надо. Я пытаюсь выскользнуть из-под цепкой лапы, забиться поглубже, но она все теребит так настойчиво. Что тебе надо так? Поняв, что не смогу избежать ее, я повисаю в пространстве, притворяюсь мертвым, игнорирую ее назойливые щипки. И нет меня тут вовсе. Может, надоест ей.

Тогда лапа ухватывает меня за руку и дергает с неожиданной силой. Сустав трещит, я с удивлением чувствую боль, которая разрывает темноту надвое с хрустом ломкой соломы, и мои глаза заливают свет.

– Негоже зверушек обижать, негоже, – ворчит старуха, по другую сторону костра; – Негоже. Но что ж поделать? – она хмурится и ловко стягивает с лягушки кожу, подцепив лезвием ножа у головы.

Тельце дергается, глаза лягушки вылезают из орбит, что придает ей вид чрезвычайного удивления.

«Охуела с жизни» – отчего-то вдруг подумал я и сдавленно засмеялся. Лягушка затихла, старуха покачала головой, сочувственно цокнула языком и швырнула лягушку в котел.

Котел висит на проволоке, протянутой над огнем откуда-то из темноты и качается, когда изувеченное животное плюхается в него.

– Негоже, но искусство требует удивленных лягушат. –

Она обтерла руки о ворох цветастых юбок и принялась расталкивать длинной корявой палкой дрова под котелком.

– Понимаю, – кивнул я.

Негнущиеся пальцы у огня отогрелись, и я смог запихнуть томик во внутренний карман.

– Я – тетя Пифа. А ты кто?

– Пушкин, – представляюсь я.

– Знаю, что Пушкин. Но он-то тоже. И как вас различать прикажете? – она указала мне за спину, я обернулся и провалился в пустые глаза.

Миг я падал в растянутую где-то там паучью сеть, и в этой черноте снова стало уютно, только сеть приближается, а по нитям бегают разноцветные сполохи, пульсируют расходящимися от центра волнами, и я в ее центр лечу. Дзынь! Лопается, а передо мной мое же лицо прямо нос к носу, только белое все, и чувство падения еще есть, а самого падения вроде и нет, а лицо улыбается, и нос у него весь цел-целехонек, крупный такой, с горбом. А мой что? Даже завидно. Протягиваю к нему руку, по щеке трогаю, щетина жесткая, колетса, а он и не против вроде. Сидит такой, ноги по-турецки сложены в атласных шароварах, волосы кучерявые.

– Ну так кто ты будешь? – спрашивает старуха.

– Негром пусть буду, бабушка, – отвечаю. Черным негром.

– Не, милоч, – качает головой Пифа. – Пеплом все мы

будем когда-нибудь. И пеплом и пылью под тахтой. Клетчатая такая тахта у меня была, раскладная. Там ящик еще под матрасом – белье складывать. Удобно вроде, но под ящиком этим столько пыли скапливалось! У меня еще кот был, так что совсем беда. Да и если закатится что мелкое – не достанешь, пока тахту не сдвинешь. Ну вот разве что палкой для штор пошуровать, но если не достаешь, то только двигать. А там пылицы клубки такие с кулак, – она потрясла над огнем своей скрюченной лапкой, – вот каждым из этих клубков и будем. По очереди. Но а сейчас-то как тебя кликать? Разве что и правда – черный.

– Пускай буду черным, – согласился я.

Белый Пушкин продолжал неподвижно сидеть за моей спиной. Я подумал, что ему, наверное, неудобно, и сдвинулся ближе к старухе.

– А зачем я здесь?

Бульк-бульк, – в котелке лопались пузыри.

– Все да тебе расскажи, – она покачала головой, седые кудряшки колыхались вместе с язычками пламени. – Сам как думаешь?

– Меня просто из класса выгнали.

– Маргинал, значит.

Белый Пушкин издает тихий квакающий звук.

– А ты кто? – я решаюсь обратиться к нему.

В ответ он только склоняет голову набок. В таком положении я могу разглядеть его глаза: они цельные, без белков

и радужек; правый – черный, левый – белый.

– Ты что-нибудь видишь?

Он поворачивает лицо ко мне.

– Ты разговариваешь? Кто ты?

– Пушкин, не видно что ли? – отвечает Пифа ворчливо.

– Почему он не говорит?

– А почему ты не пишешь ни черта?

– Мне не нравится.

– Вот и ему.

Белокожий я сижу неподвижно, его пальцы переплетены в причудливый узел, руки лежат на бедрах, лицо повернуто к огню, он весь чуть раскачивается. На нем синие шаровары, выше пояса он гол. Наверное, у меня такая же впалая грудь с проступающими костями. Только кое-где ребра протерли кожу.

– Так зачем ты пришел?

– Я заблудился.

– От Царя бежишь?

– И от него тоже.

– А куда бежишь?

– Наутек.

Я пожевал это слово, и вдруг почувствовал голод. Над котлом поднимался пар. Пахло курицей.

– На, пожуй.

Старушка бросила мне комок. Я поймал. Скользкие обрывки. Кожа лягушек, которых она варила. Я отделил от

комка одну, расправил: лоскут просвечивает. Не то желтый, не то бурый. Я поднес его ко рту, высунул язык, тронул. На кончине языка остался горьковатый привкус.

– Так и есть?

Она кивнула, продолжая закидывать в котелок обрезки каких-то растений.

Кожа отдает тиной, я перекрыл языком носоглотку и сунул лоскут в рот. Попытался жевать, но кожа только комкалась, сминалась. Горькая. Сглотнул – она провалилась в горло, но я подавился. Пищевод судорожно вытолкнул ее обратно.

Я выплюнул кожу на ладонь.

– Я лучше посижу так.

Пифа отрицательно мотнула головой, на этот раз удостоив меня взгляда:

– Ешь давай. Тебе понадобятся силы.

– Для чего?

– А для чего тебе нужны силы?

– Я не знаю. Чтобы жить, наверное.

– Ты же недавно жить не хотел вовсе.

– Недавно мне это уже припоминали.

– И еще припомнят, – она пророчески потрясла в воздухе длинной деревянной ложкой. – Так зачем тебе жить, Черный?

Я не стал отвечать, закрыл глаза и всосал в себя лягушачью кожу с ладони. Она мягко ухнула в желудок. Отделил от

комка вторую и отправил следом. Третью. Четвертую. Больше не оказалось. Я вытер руки о солому. Во рту осталась скользкая горечь. Меня передернуло. Зачем я сожрал эту дрянь?

На меня больше не обращали внимания, старушка запела что-то низким клекочущим голосом, слов было не разобрать. Что-то заунывное, – не то бормочет, не то стонет. Белый Пушкин продолжал еле-заметно раскачиваться вместе с язычками, лизавшими котелок. У самых поленьев язычки были синие, в середине – красные, дальше желтые, а на кончиках – зеленоватые. Иногда из расщепленных поленьев вылетали искорки и взвивались куда-то вверх, в темноту. Я не увидел потолочных балок, хотя снаружи избушка казалась... Я стал прикидывать.

– Стоп, – строго сказала Пифа, прервав свое пение. – Никаких снаружи, а то поплывет все. А мне сейчас нужна конкретика: пропорции важны.

Я кивнул и попытался отделаться от мыслей о высоте избушки. Не вышло. Я снова увидел, как она гнется под напором ветра, шелестит солома на крыше.

Зашипело: из котелка на угли выплеснулось немного воды. Пифа бросила на меня раздраженный взгляд и скривила тонкие морщинистые губы.

– Займи его, Белый. А то я никогда не закончу.

Он задумчиво кивнул, повернул ко мне лицо, расцепил руки и выставил ладони перед собой. Невинно, как фокусник

перед коронным трюком.

Обычные ладони, только кожа слишком белая.

Он сжал кулаки, оставив оттопыренными только указательные пальцы. Я заметил, что на них у него торчат длинные неостриженные ногти. Белый направил пальцы себе в лицо и одним движением погрузил их в глазницы до второй фаланги.

Я замер, почувствовав, как скрипнули зубы. Живот пробрало холодным позывом.

Он наклонил голову, вынул пальцы и опустил кулаки на бедра. Я не видел, что случилось с его глазами.

Пифа снова запела, а он вдруг резко выбросил руки перед собой – я шарахнулся назад, потерял опору и кувыркнулся куда-то вниз, описал в воздухе один кульбит и шлепнулся на то же само место к огню. Солома не дала ушибиться. На меня тарацились десять маленьких глазок: по одному на подушечке каждого пальца. На левой руке – все черные, на правой – все белые. Он шевелил пальцами, поворачивал их, сдвигал и раздвигал. По одному вытягивал глазки ко мне ко мне на пальцах-стебельках. Остались только эти глаза, на периферии все смазалось, поплыло. Потом Белый по очереди соединил безымянные пальцы с указательными на обеих руках, сдавил, сдвинул их вместе ногтями друг другу – получились два кольца.

Он на мгновение соединяет попарно остальные пальцы и вновь разворачивает веером одним длинным плавным дви-

жением. Теперь каждый глаз вертикально разделен пополам: одна сторона черная, другая – белая. Только на указательных пальцах глазки остались одноцветными.

Я замороженно подался вперед.

Белый выгнул кисти, сложил из пальцев две звериные морды, направленные друг к другу и начал разыгрывать между ними общение. Две мордочки то приближались друг к другу, открывали «рты», то вместе, то по очереди, расходились, одна то нежно терлась об другую, то руки прикусывали друг друга за пальцы, словно у них была страстная, полная ссор и примирений любовь.

Глазки теперь проступили на костяшках. Они плясали прямо у моего лица. Мне показалось, что этот танец как-то подчиняется заунывному бормотанию старухи, но ритм ускользал. Внезапно Белый развел руки в стороны, провернул локти: две морды вдруг уставились прямо на меня, их пасти хищно приоткрылись. Я увидел на подушечках крошечные, загнутые вовнутрь зубы, невнятно ойкнул.

Морды ринулись вперед – я даже не успел отпрянуть – и впились мне в глазницы. Мир закрутился: старуха, огонь, чернота, изуродованное лицо, котелок, мой цилиндр, снова огонь, и все.

Я смотрю на Пифу. Она сидит напротив меня, продолжая протяжно бормотать слова. Голос то поднимается до писка, то становился низким и еле-слышным. Я повернул голову: справа, скрестив ноги в черных брюках, сижу я сам. Смытый

цилиндр лежит рядом.

Огонь бликует на остром выступе оголенного хряща там, где должен был быть нос. Моя левая щека кажется обожженной в неровном свете костра, хотя я знаю, что там просто сквозная прореха. Я вытягиваю руку перед собой – она снежно-белая, кожа без морщинок. Мне кажется, что я ощущаю потоки воздуха вокруг огня.

Черный я не двигаюсь, не смотрю на себя. Я хочу узнать, что случилось с моими глазами.

– Пушкин? – окликаю его.

Он не двигается.

– Ты жив? – я хочу тронуть его за плечо, но Пифа вдруг протягивает свою поварешку через огонь и отталкивает мою руку. Поварешка обуглена на конце, но на моей безупречной коже не остается следов:

– Не тронь, – говорит.

– Что со мной?

Она закидывает в котелок горсть черно-белых шариков. Во мне шевелится беспокойство.

– Теперь так навсегда?

Старуха смотрит на меня и укоризненно качает головой:

– Какой же ты зашуганный. Невротик. Знала я одного такого. Только он был котом. Я его тоже иногда занимала, чтоб куда-нибудь прогуляться. Так он нет бы трахался с соседом или там телек смотрел, – нет! Он стихи писал. В моем теле, моими руками, на моих обоях, представляешь?! Тяжко ему

жились со мной, что ли?

Она дернула плечами, будто этот вопрос действительно беспокоил ее.

– Но почему я все еще помню... про себя? Если мы поменялись, почему я – еще я?

– А Господь его знает, – отмахнулась старуха. Это интересовало ее меньше, чем склонности ее кота, но она все же начала объяснять:

– Ну слышал, вон, говорят: глаза, мол, зеркало души?

– Да.

– Ну а вот физики, я слышала в одной передаче, говорят, что на зеркале остаются отпечатки всех, кто в него хоть раз смотрелся. Где-то там на малярном уровне. Вот вы посмотрелись друг другу в глаза и отпечатались. А теперь ты просто не все отпечатки сразу, а один. Твой.

Выходило, что я – это все еще не я, но ощущаю себя как я.

– То есть наши души не менялись местами?

Старуха сухо закашлялась, кашель быстро превратился в отрывистые смешки.

– Как будто она у тебя есть. Эй! – она окликнула черного меня. Голова повернулась к ней. Я все еще не мог рассмотреть, что стало с моими глазами. – Ты спросил, меняются ли души местами, запомни это. Потом помучаешься, какой ты дурак.

Пифа снова рассмеялась, расправила юбки, кряхтя, поднялась, заглянула в котел и начала деревянной ложкой вы-

нимать из него какую-то красноватую пузыристую пену:

– Это чтобы дешевых восторгов поменьше. Сейчас нюни всякие про лобызанья рук и очи ланей не идут. Нужна порнография! – она взмахнула ложкой и хлестнула ей что-то в воздухе на уровне пояса. – Эстетическая, разумеется. Поэтому немного лучше оставить... Ложка задела проволоку, котел качнулся, и пена выплеснулась через край вместе с варевом.

– Ай-яй-яй. Нехорошо! – закудаhtала Пифа, и мне вдруг показалось, что она толкнула котел нарочно.

Она черпнула ложкой из котла и какое-то время внимательно всматривалась в жидкость, потом вынесла вердикт:

– Может жестковато выйти. Ну да ладно, сейчас же модно это все, когда души и внутренности наизнанку, а все вместе когда – типа уже высокое искусство. Но ты осторожнее, фильтруй сам. Если что, помни: это все у тебя в голове. Чтоб дряни не полезло всякой. Не хватало нам потом всей страной в чернухе купаться из-за твоих сомнительных фантазий. Это тебе надо запомнить, не ему, – она тронула ложкой черного меня за плечо. Черный я кивнул.

Старуха уселась обратно. Еще раз помешала в котле:

– Немного осталось. Посиди тихо.

Она запела.

Я рассматривал свои руки. Такие красивые, оказывается. Рисунок крошечных бороздок в коже, слегка выступающие вены, чистые гладкие ногти. Захотелось потрогать свое лицо.

Нос, ощутимая горбинка на нем; щеки, покрытые жесткой колючей щетиной. Я как будто ощущал их белизну. Поднял руку выше: лоб, волосы. Курчавые, как будто более упругие, чем обычно. Как будто из проволоки скручены.

Я примял волосы, и они тут же восстановили форму. Тогда я нащупал один выбивающийся волосок и дернул его. Волосок натянулся и тренькнул. Это оказалось на удивление больно. Словно лопнуло что-то в ухе.

Я поднес волосок к глазам: черный, вполне обычный. Вытянув руку над огнем, я отпустил волосок, и он упал на угли, забился от жара, скрючился, вспыхнул и исчез. Но я уже не мог оторвать взгляд, потому что смотрел на суставчатую паучью лапу, тянущуюся ко мне из костра. Острый конец торчал наружу, обугленный. Лапа горела. Я пошарил глазами и увидел еще одну, потом еще и еще – обломки разных размеров. То, что я принял за ветки, оказалось ворохом обломков паучьих конечностей. Они трескались в огне, чернели, белели, рассыпались, тянулись во все стороны.

Пифа перестала петь.

– Зачем ты жжешь паучьи лапы? И откуда они?

– Ты принес. Нууу... ты, – она помешала ложкой в воздухе: – Белый, в общем.

Я кивнул и снова посмотрел на свои ладони.

– А почему на них варю? – она повторила мой вопрос и задумалась. – Потому что искусство питается... Нет, это слишком пафосно... – Старуха засуетилась, достала из-за пояса

маленький блокнот, огрызок карандаша, что-то нацарапала на листке, вырвала его, сложила в несколько раз, убрала обратно блокнот с карандашом и всунула черному мне сложенный листок в боковой карман плаща. – Вот, прочтешь перед господином Б.

– Господином Б? Не уверен, что мы знакомы.

– Скоро будете, без него в твоём замысле никак. Да и знакомы вы наверняка, ты просто Белому, видать, в зеркале дураком отпечатался.

Меня передернуло от смутного чувства ускользающего понимания: вроде я должен знать, о каком замысле она говорит, но никакой конкретики. Пелена. Наверное, о нём не знает Белый. Но догадывается.

Она поворошила обломки палкой, раздвигая их, чтобы пламя угасло:

– В общем, надо так по рецепту. Для соблюдения аллегоричности.

Огонь спал, в комнате стало темнее, черный я все так же покачивался, залипая в костер.

Я еще раз попытался заглянуть ему в лицо, но Пифа кинула в меня чем-то дряблым, вновь пресекая мои потуги.

Петушиная голова. Перекошенный клюв, мутные глазки, вялый гребень. Я сбросил огрызок на солому и вытер руку:

– Зачем мне это?

– Пожевал бы. А его не трогай.

– Я сыт, – кажется, я действительно больше не чувствовал

себя голодным.

– Тогда дай назад.

Я швырнул голову, она поймала и перебросила черному мне:

– На, съешь потом, иначе рвать будет.

Он послушно поймал подачку одной рукой и закинул в тот же карман, куда Пифа поместила свою записку для Б

– С кем из нас ты разговариваешь?

– С Пушкиным, с кем же еще?

– Ясно. Скажи, почему мне нельзя его касаться? Я только хочу посмотреть, какие у него... у меня сейчас глаза.

– Нельзя, милоч.

– Почему?

– Ограничения методики. Хотя... – она заглянула в котел, – собственно, что это я? Все готово. Белый, его больше не нужно занимать.

Разорванная щека поворачивается ко мне, тень плавно уходит с его глаз, меня дергает к нему всем телом, я кувыркаюсь: котел, старуха, цилиндр – и все встает на свои места. Я не могу понять, видел ли его глаза, и какими они были – только черноту, в которую провалился.

Голова кружится. Белый снова сидит в своей позе по-турецки слева от меня.

– Так у нас поменялись глаза?

– Для меня – нет. Для тебя – не знаю.

– Я не могу их увидеть?

– Побочный эффект. Чтобы что-то там сходилось у шибко умных. Без парадоксальных осложнений. Духовность с наукой с трудом уживаются. Но я не разобралась. Я, знаешь ли, больше практик. В отличии от него, – она указала на белого. – Много всякого умеет, но все равно бесполезный. Слишком идеальный. А вот тебе придется потрудиться, раз уж приспичило писать шедевр.

– Приспичило? Мне это нахер не сдалось, – я отвечаю резко, чем мне на самом деле хотелось. Вырвалось.

– Ну а зачем ты тогда ко мне пришел? Сам Граф просил тебе сварить.

– Вот ему оно и надо, что бы вы там ни варили. Граф заладил ту же песню, что и государь – батюшка: стихи гениальные подавай, Русский Дух изволь накормить. А я просто не хочу висеть в коконе тысячу лет, впав в немилость.

– У тебя что, все так увлекательно в жизни? – она затряслась от сухого хихиканья.

– Меня не вдохновляет такая перспектива существования. Текущая тоже не фонтан, но...

– Текущая не фонтан, – повторила бабка и снова зашлась смехом.

– ... Мне кажется, неуместно говорить, что мне приспи-

чило, – уже с искренним раздражением закончил я.

– Ох, – бабка крикнула и поднялась на ноги, – сосунки, что один, что другой. И зелья-то на вас жалко, а кто-то выдумал на вас всю Духовность слить. Ресурсный менеджмент в этой стране всегда был ни к черту. Ладно, уже сварила. Не пропадать же.

Она выудила из-под вороха юбок маленький стеклянный пузырек, зачерпнула ложкой варево и осторожно влила в него, потом еще, пока пузырек не наполнился на две трети. Тогда старуха пошуровала ложкой на дне котелка, несколько раз попыталась выудить что-то из него, но оно соскальзывало.

– Достань, будь полезным.

Белый, ничего не говоря, сунул руку в котел и достал ей разварившийся лягушачий глаз. Кипяток не беспокоил его. Рука осталась сухой.

Старуха взяла глаз ногтями с его ладони и затолкала в пузырек, вытащила из складок пробку, сморкнулась этой же рукой, макнула пробку в слизь, закупорила пузырек, обтерла его о юбку, достала блокнот с карандашом, нацарапала что-то на листе, вырвала, приложила к пузырьку, сунула блокнот назад, скатала с карандаша резиновое кольцо, растянула его, перехватила им бутылочку вместе с листом и протянула мне.

Я принял пузырек, покрутил в руках: «Вдохновение?» – написано. Именно так, с вопросом. Неуверенное такое вдохновение. Сомневающееся.

– Сморгаться обязательно было?

– Нет. Чтобы пробка крепче сидела. Ишь, брезгливый какой! – заворчала старуха, – не помрешь, поди. Измельчали вы, поэтики, – она склонила голову набок и сощурилась:

– Раньше хоть любовь, долг, терзания... А сейчас... сплошная политика. Все вопросы о том, какой порядок в головах будет... В одной голове, – добавила она, чуть задумавшись, и умолкла, видимо, удовлетворившись своей речью.

– Не ворчи, лучше скажи, что с ним делать, – примириительно говорю.

Белый перевел на меня свои черно-белые глаза и наблюдал.

– Пить или выпаривать, на любителя, – старуха зашлась клекочущем смехом. – Говорила же: может получиться жестковато, так что следи за содержанием. Перо лучше хищника бери. Филина. Я закинула немного крошек прошлогоднего хлеба – будет такое сыпучее беспокойство, когда читаешь. Но не юмори особо, плохо выйдет: побочный эффект. Щенячъх носов три, а не два, но это не так важно, в остальном все классическое: стрелка часов, лягушата, снег, кружево с чулка, червивые яблоки... да все равно ты не поймешь, зачем я старая тебе это рассказываю? А! Вот коровий глаз только один положила, – граф говорил, что ты и так весь из себя безысходный. Кажется, все. Теперь проваливай.

Сказав это, она толкнула ногой котелок, он опрокинулся, варево выплеснулось на остатки тлеющих паучьих лап, заши-

пело, свет пропал совсем, я потерялся в едком дыму, вдохнул его, закашлялся, глаза щипало. Я зажмурился, осел на солому, начал отползать куда-то от костра, ожидая упереться в стену, но ее все не было, потом я поднялся на ноги и стал отступать, и наконец стукнулся о что-то твердое и шершавое, поднял голову вверх – надо мной раскачивалась корона разлапистого дуба.

Дым рассеялся, я стоял на поляне под звездчатым безлунным небом. Избушка шумно протискивалась в чащу с другого конца поляны. Деревья трещали и гнулись, но одно за другим уступали ей, и через несколько мгновений она совсем скрылась из виду.

Очень подробно все, как-то слишком подробно, последовательно. Обычно все смазанно и зыбко, не так.

Налетел порыв ветра, лес зашептал сотней неразборчивых голосов. Да, так намного привычнее.

Я убедился, что флакончик все еще у меня, сунул его в карман, – там под пальцы попало что-то мягкое и бесформенное. Голова петуха. Пифа говорила съесть. Я размахнулся, и голова улетела в траву.

Развернулся, пошел наугад через кусты, но меня остановило внезапное чувство тоски. Идти уже никуда не хотелось. Я сел между корней, привалился спиной к стволу и просидел так, пока прямо передо мной не шлепнулась шишка.

Задираю голову: по ветке скачет белка:

– Как плоско, – разочарованно пищит она, на секунду за-

мерев, и скрывается за стволом. Я чувствую резь в челюстях, двигаю ими. Ощущение не пропадает.

Потянуло вернуться на поляну.

Прошелся по траве туда, куда, мне казалось, упала голова, сначала пошарил ногами – не нашел, тогда я опустился на колени, стал перебирать руками кочки, пучки травы – нету. Меня захлестнул паника. Руки ударила дрожь. Захотелось неистово метаться, подвывая и скуля, пока голова не найдется.

Я закрыл глаза и принохался. Вдох – выдох. Сдвинулся чуть левее – ничего. Назад. Ничего. Пополз по поляне. Мандраж, тело лихорадочно колотит.

Среди кочек пахло цветами и чем-то не серым. Я был вполне уверен, что так пахнет именно не серое: то, что я ищу.

Я двинулся на запах, челюсти начало ломить, очень хотелось размять их, пожевать что-то упругое.

Сунулся под кочку, где должен был находиться источник запаха, и достал белую петушиную голову. Челюсти так светло, что я закусил язык, рот наполнился прохладной металлической кровью. Затолкал между челюстей петушиную голову и принялся жевать изо всех сил, вместе с перьями, черепом, клювом. Они хрустели, и я испытывал невероятное наслаждение.

Глаза закрылись от удовольствия. Я стоял на коленях и все жевал, чавкая и придерживая руками вылезающие через рваную щеку куски, пока петушинная голова не превратилось

в единое жидкое месиво, и я смог его проглотить.

Челюсти отпустило, хотя язык продолжил кровоточить.

Я улегся в сухую траву.

Звезды засыпали небо. Я втягиваю воздух – они становятся ближе. Выдыхаю – дальше.

В лесу застучал дятел. Размеренно, короткими очередями. Тук–тук–тук.

Или это постучали в дверь.

Я настороженно посмотрел на нее. Стук не повторился.

Я подошел, стараясь, чтобы каблуки сапог не грохотали по неровному бетонному полу, и заглянул в глазок. Никого.

Вернулся к столу, сел. Дверь оставила чувство тревожной недосказанности, поэтому я не смог сидеть к ней спиной: тянуло обернуться. Пришлось развернуть стул так, чтобы дверь маячила на периферии зрения. Я сразу почувствовал себя спокойнее.

Что-то я хотел... Но что?

На грубом деревянном столе раскидана бумага, в основном листы небрежно исписаны кучерявым почерком. На некоторых всего одно-два слова. Буквы такие причудливые, что взгляд соскальзывает с линии на линию, бегают по петлям, и вчитываться мне совершенно не хочется. Красивые строки. Вот все бы такие.

Напротив меня стена, облицованная пупырчатой штукатуркой. На полу между нами лежит толстый матрас. В одном месте он грубо заштопан шерстяной ниткой. Один, два, три,

четыре, пять, шесть, посчитал два раза? Стежки. Сквозь них лезет поролон. Бурый такой. Матрас полосатый. Полосатый матрас. Стихи! Вот, что я хотел сделать.

От моих ног к двери вытянулась тень. Я сижу на стуле. Мне хочется посмотреть на свою тень в профиль, но чтобы сделать это, приходится повернуть голову, и тень меняется. Я пытаюсь скосить глаз, не поворачивая голову. Это сложно. Шея напрягается и болит, а я могу дотянуться взглядом только до выступа, который кажется носом. Я поворачиваю шею так, чтобы ощутить минимальное смещение в положении позвонков. Скрип истершихся дисков друг о друга. Профиль тут же укорачивается – не поймать.

Я раздражен. Беру листок со стола – на нем в разных частях под разными углами написано по несколько строк. Читаю одну, и раздражение усиливается. Чудовищно пошло. Два слова подлизываются друг к другу. А ты меня потом оближешь, когда тебя будут читать? Мы же созданы друг для друга, и оба в масле, сколько томности, сколько страсти! Мерзость, – меня передернуло.

На столе стоит лампа. Плафона нет, лампочка торчит из ножки и слепит меня. Поэзия – полная хуйня.

Я долго всматриваюсь в лампочку, пытаюсь разглядеть раскаленный волосок. Свет заполняет все, сердцевина переливается. Мне кажется, что спираль проступает из белого сияния, что я вижу ее завитки, но тут же она снова сливается со светом и вдруг вспыхивает черным волоском уже в дру-

гом месте.

Глаза режет, я отвожу взгляд и смотрю на стену. На ней мерцают слепые белые пятна, а за ними что-то другое, что-то проявляется из света, я моргаю, чтобы разглядеть это. Образы неясны, но вот я вижу очертания человека, и сразу всплывает вся картинка: человек. Да это же Человек вглядывается в Истину! Человек ослеплен Истиной. Он жмурится, трет глаза, и все равно теперь видит только свет. Падает на колени, царапает себе лицо и умоляет его простить. О Боги!

Живот напрягается, я слышу собственное хихиканье. По спине прокатывается легкая судорога, а потом все тело начинает ломать: мышцы ноют, требуя обратить на себя внимание и напрячь их, суставы просят выгнуть их сразу во все возможные стороны. Ребра выталкивают смешки.

– Это омерзительно, – говорю я себе и с силой прикусываю щеку, чтобы отвлечься от ломоты. На зубах остается мягкий, волокнистый кусок. Я сосредоточенно жую его. – Не смей так больше делать, – строго стучу себя пальцем в лоб.

Чувствую, как вибрация сотрясает прокисающий мозг.

Кусок проглочен. Напряжение в суставах никуда не делось, я по очереди выгибаю пальцы на правой руке. Хруст, хруст, хруст, хруст, хруст. Потом на левой. Хруст, хруст, хруст, хруст. Это успокаивает. В голове ясно. Я смотрю на лампочку. Хруст: я смотрю на торчащую из пальца кость.

Это было слишком мерзотно.

Чувствую боль. Берусь за кончик сломанного пальца, от-

тягиваю его – кость прячется под кожей. Загибаю обратно – что-то снова хрустит. Палец остается в полусогнутом положении. Я пытаюсь подвигать им – не выходит. Зато ломота отступила.

Хочется закурить. Лезу в карман свободной рукой и достаю пузырек. К нему синей резинкой примотан разлинованный клочок бумаги, но я не вижу никаких надписей. Скатываю с пузырька резинку, отделяю клочок, расправляю его на столе – ничего. На другой стороне тоже. Чистый клочок. Кажется, там было что-то о сомнительном вдохновении.

Ставлю флакон на стол под свет лампы. Подношу глаз к самому стеклу. Оттуда на меня смотрит другой глаз, весь белесый, с золотым ободком. Смотрит удивленно. «Ты кто?» – спрашивает глаз.

Жижа во флаконе салатно-зеленого цвета. Тень от бутылочки покачивается толстой стрелкой на шершавом дереве стола. Тик-так, тик-так. Где это тикает? Кажется, у меня в голове.

Автоматически царапаю хищным пером на клочке две мертвые строчки, и сразу о них забываю.

За дверью отчетливо слышится тревожная возня. Я подхожу к двери и еще раз смотрю в глазок. На площадке стоит человек с овчаркой на коротком поводке и звонит в соседнюю дверь. Ему не открывают. Человек одет в черные штаны с вертикальной красной полосой и форменную куртку. На голове у него нелепая фуражка с высоким козырьком.

Чувствую, как сердце начинает колотиться у самого горла. Очень громко, я сглатываю – собака поворачивает острую морду и вопросительно смотрит на мою дверь. Одно ее ухо заломлено. Я подношу палец к губам. Руки дрожат. Собака склоняет голову набок и прижимает уши. Ее брыли подрагивают, у меня сжимается грудь – собака решает, стою ли я ее лая.

– Леха! – мужской голос доносится откуда-то снаружи, приглушенный пролетами лестницы.

Человек в красных полосках отворачивается от двери и уходит вниз по ступенькам. Собака не отводит настороженного взгляда от моего глазка, но следует за ним, промолчав.

Я благодарно киваю ей. Сажусь на пол у двери, снова смотрю на свои руки. Темная кожа облезает катышками. Сломанный палец все не двигается. Поделом тебе.

Отсюда стол кажется очень большим, на его краю стоит пузырек. Золотистый глаз наблюдает за мной.

– Скажи мне, лягушонок, о чем пишут великие стихи?

Глаз так и пялится, но не отвечает.

– Что я могу рассказать такого, что тронет души народа? Чем нынче кормится Русский Дух, а, лягушонок? С тебя вот сняли кожу и был таков, а с меня никто снимать не собирается. С меня, видишь ли, стихи подавай. А о чем?

Что-то твердое упирается в под дых и причиняет дискомфорт. Я шарю по груди здоровой рукой – что-то в подклад-

ке плаща. Запускаю руку во внутренний карман, достаю томик. Зеленый переплет с восточным орнаментом. На обложке большая золотистая «К». Тяжелый. Мне кажется, я уже об этом думал, но не могу вспомнить, когда именно. Хочу раскрыть томик, но он выскользывает из пальцев, шлепается на пол.

Тогда я опираюсь одной рукой о пол, приподнимаюсь, и другой подталкиваю его под себя. Сидеть так куда удобнее. Сгодится.

Что же делать? Начинаю грызть ногти. Стена, матрас, стол, стул, пузырек, лампа

– Солнце полымям вызвало к славной сяубе... – бормочу.
На правой стене висит ковер.

– Зоры веру улили силам зломанным.

Ковер такой грязный и потертый со своими ромбовидными узорами – не то черепа, не то паровозы – что у меня начинает чесаться плечо. Я точно знаю, что чесаться вовремя очень важно, поэтому старательно ерзаю лопаткой по стене. Это помогает.

Пусто в голове. Смотрю на ковер: на нем происходит какое-то движение. Мелкие тени трепыхаются между узорами. Я наблюдаю за ними. Они повсюду, но никогда не вылетают за пределы ковра. На стене таких нет.

Я делаю усилие и оказываюсь перед ковром, прихватив с собой и томик.

Мотыльки. Крошечные, не больше ногтя. То летают вдоль ковра, то садятся в проплешины.

– Могут быть великие стихи о бабочках?

Под ударом моего голоса они разлетаются в стороны.

Могут ведь. Но что сказать о бабочках? Смотрите, мол, вон. Бабочки. Порхают. На крылышках чешуйки, усики мохнатые, лапки, такие щупленькие все. И никогда-никогда не вылетают за ковер. Да они же как...

Накатывает ломота. Чтобы не ломать себе второй палец, я приближаю лицо к самому ворсу. Мне кажется, что крылья мотыльков выбивают из нитей пыль, она закручивается в крошечных вихрях, оседает обратно или разлетается по комнате.

Я наблюдаю за одной пылинкой. Сначала она метнулась из-под суставчатой лапки, зацепившейся за ворсинку. Крылья бьют воздух, пылинку швырнуло вверх, прибило обратно, снова вверх. Она заметалась и поплыла по воздуху к моему носу. Я задержал дыхание – пылинка замедлилась.

Все ближе, ближе. Подойдите ближе, бандерлоги.

Я скашиваю глаза к переносице, но уже не вижу ее. Ближе. В груди жжет, я шумно втягиваю воздух обрубком носа. В левой ноздре нестерпимо чешется, и я чихаю, машинально прикрывшись рукой.

На ладони извивается бодрый опарыш.

Я потерялся.

Что делать с личинкой? Подцепляю ее двумя ногтями.

Пальцы гнутся плохо, опарыш падает на пол и деловито ползет куда-то к столу. Вытягивает острый кончик своего тела, потом отталкивается толстым задним и переливает свои внутренности к голове. Тик-так, тик-так.

После нескольких попыток мне удается поднять опарыша с пола. Аккуратно сдавливаю его с одного конца – другой надувается. Он возмущенно мотается из стороны в сторону. Не зная, куда его приспособить, кладу в карман.

Подхожу к столу – пузырек все так же вызывающе топорщится на краю. Кладу томик на стол, беру сомнительное вдохновение и рассматриваю на просвет.

Нет уж. Пить я тебя не буду.

– Да ты уже, Пушкин, – Кощей скалит свое стесанные зубы из дверного проема. Проходит в комнату. Потягивается. При этом его пальцы легко достают до потолка. Я слышу протяжный хруст позвонков. Один за другим, один за другим: щелк, щелк, щелк.

Резко повернувшись к нему лицом, я прячу за спиной пузырек, сжимаю в кулаке и отодвигаю томик подальше.

Рука левая, сломанный палец задевает стол. Больно. Кощей стучит челюстью:

– Да что ты прячешь там? Как дите малое. Я ж тебя всего знаю. Облупленного. Вдоль и поперек.

– Не смею сомневаться, Государь, – кланяюсь.

– Тогда чего прячешь? – череп чуть повернут в сторону. Если бы у него были глаза и веки, он бы сейчас, наверное,

хитро шурился.

– Могу я спросить, Государь?

– Валяй.

– Вы сейчас хитро шуритесь?

Челюсти скрежетнули друг о друга.

– А что ты видишь?

– Да позволено мне будет сказать, Государь, я вижу ваш череп. Глазницы ваши.

– Вот и славно. Мой череп шурился?

– Нет.

– И зачем спросил?

– Хотел, Государь, да простите мне вольность, узнать, что у вас на ду...

Я осекся. Кощей стоит неподвижно. Провалы в черепе обращены ко мне.

– Ну?

– Прошу прощения, Государь, хотел узнать, что у вас внутри.

Он мелко затрясся, челюсть съехала набок. Царь поправил ее рукой.

– Все пытаешься знать больше, чем тебе положено, Пушкин?

Я вновь почувствовал, будто он смотрит на меня лукаво, хотя в оголенных костях ничего не могло поменяться.

– Когда-нибудь я сожру тебя, и ты все узнаешь, – он снова задрезжал костями в сухом смешке.

– Слушаюсь, Государь.

– Ну да будет. А теперь давай, что ты там прячешь, – Кощей строго протянул перед собой раскрытую костяную ладонь. До кисти его руку скрывал расшитый золотым узором бархатный темно-красный рукав. Вторую руку он заложил за спину и слегка подался ко мне.

Я чувствовал страх, мне отчаянно не хотелось отдавать ему пузырек. Я выпустил стекляшку обратно на стол и попытался нащупать что-то другое. Пузырек повалился набок и звякнул. Я весь сжался, прильнул к столу, поспешно шаря в поисках замены. Сломанный палец больно чиркает по дереву. Я закусил язык. Сгреб что-то рабочими пальцами и выложил это на ладонь Кощея.

Скомканный разлинованный листок. От бутылочки.

– Так не стоит делать, – он скатывает бумажку в шарик двумя пальцами и дает ей провалиться между фаланг. Шарик падает на пол: мои попытки изобразить наивность его не впечатлили.

В груди екает. Я снова шарю по столу обеими руками, ищу пузырек, не решаясь повернуться к Кощей спиной. Это занимает мучительно много времени. Так долго. Где же? Пропади он пропадом. Наконец чувствую под пальцами прохладное стекло и протягиваю Государю. Он берет пузырек, подносит к черепу.

– И все? Все ради этой дряни?

Мне чудится, что он сбит с толку. Он сжимает пальцы.

Хруст. Стекло крошится. Зеленая жидкость сочится между фаланг его пальцев, сквозь тонкие кости кисти, капает на пол. Образуется небольшая лужа. В нее падают мелкие осколки, а следом – горловина. В ней под пробкой застрял удивленный глаз.

– Зачем ты прятал это?

– Боялся, что вы, Государь, гневаться будете.

– А есть за что, Пушкин?

– Не могу знать, Государь. На то ваша воля.

– Где ты это взял?

– В... – у меня в голове все мечется, надо что-то придумать, но в голову лезет полная чушь, – в лесу.

– Где? – его челюсти холодно лязгают.

– Не извольте беспокоиться, Государь... – я давлюсь словами, подбирая оправдание. – Там нет ни Бога, ни праздных радостей, – выпаливаю.

– Что? – череп наклоняется ко мне близко-близко. – Что ты сказал?

Что я сказал? Я не знаю. Первое пришедшее в голову. Запаниковал. Надо держать себя в руках. Я молчу, отвожу взгляд.

Кощей стоит передо мной, наклонившись, так близко, что если бы я подался вперед, мог бы попасть своим обрубленным хрящом в его провал на месте носа. Все тело онемело. Не могу пошевелиться. Очень тошнит.

Проходит время. Между нашими лицами пролетает мо-

тылек.

Кощей приседает на корточки. Колени последовательно хрустят. Щелк, щелк. Его череп все еще остается на одном уровне с моим лицом. Не опуская головы, Царь проводит кончиками пальцев по полу. Его фаланги задевают стекла, оставляют росчерки в лужице густого зелья, добираются до скомканной бумажки, поднимают ее. Кощей распрямляется, разворачивает бумажку. Медленно разглаживает ее пальцами на ладони, его гладкие глазницы продолжают пристально наблюдать за мной.

Я скашиваю взгляд на бумажку, она вся измазана зелеными разводами, но на верхних линейках, вверх ногами, отчетливо нацарапано:

«Где нет ни Бога,

Ни праздных радостей»

Кощей склоняет череп на бок, снова смотрит на меня. Я не успеваю даже заметить движение руки, а его кисть уже звонко касается моего уха. Я не закрываюсь, чувствую тупую пульсацию, будто на ухо компресс наложили. Ватный такой, с водкой.

– Ты совсем дурак, Саша? Идиот? – Он замахнулся для еще одной затрещины, но вместо этого тяжело опустился на стул. Шумный выдох. – Россию мне погубить хочешь? Считаешь, она не достаточно страдала? Ну что это? – протягивает мне листок.

– Это не я...

– А кто, Пушкин?

Я не знаю что сказать. Почерк вроде похож на мой, только какой-то угловатый.

– У тебя что, все в жизни резко хорошо стало? Или девка отшила? Что ты решил без души писать, – он оперся локтями о колени, обхватил свой череп руками и поскреб кончиками пальцев. Скрип-скрип. – Что ты людей-то мучить так хочешь?

– Я... я не хочу людей мучать, Государь. Никак не изволю. Это вообще не я написал. И в пузырьке этом не знаю, что было.

Он снова обратил ко мне глазницы, свет лампы отразился в полированных костяных перегородках, и у Кощея на мгновение появился взгляд.

– Саша. Ты дурак? Кому вообще какая разница, ты написал – не ты написал. Кто-то написал. И написал он вот эту бездушную дрянь! На твоём листке.

Строка выведена зеленым.

– А должна быть там ода, – продолжает он. – Простая и славная, понимаешь? Как раньше. Как там было?

«Друзья, в сей день благословенный

Забвенью бросим суеты!

Теки, вино, струею пенной

В честь Вакха, муз и красоты!»

– Мне Русский Дух кормить надо, тебе это ясно? А ты знаешь, что у него от бездушной дряни заворот кишок? Он воет и стенает, и травится, а ты мне вот это пишешь...

Мне ясно, но ответить ему нечего.

– Ты вот что жрал сегодня?

– Я, Государь?

– Да, ты.

– Петушиную голову, Государь. И кожу. Лягушат. Три. Нет, четыре штуки, – вспоминаю.

– Оно и видно... – он устало откидывается на спинку стула, словно потеряв надежду до меня достучаться, но все же продолжил: – Что внутри, то и снаружи. Только от твоих харчей страдаешь ты один. А от того, что Он жрет – у всей нации жабы и угри на коже.

– Я не хочу никому вредить, Государь, – говорю.

Я понимаю, о чем он, и что уже навредил. Нет у меня души.

– Ты уже, Пушкин, – словно услышав мою мысль, подтверждает Царь.

Кощей встал со стула. Хрусть – хрусть коленки. Облокотился на стол рядом со мной.

Страх отступил, вместо него пришло тупое усталое раздражение. Я решил просто ждать.

– Он уже жрет вот это, – Кощей потряс листком. – А что

жрет он, то и весь народ. Понимаешь, у народа теперь ни Бога, ни праздных радостей. Нам не депрессия сейчас нужна, а интенция: бодрая, злая – вообще любая. Но нужна позарез.

Он повернулся ко мне и доверительно наклонился. Его сухой отрывистый голос стал мягче. Государь обращался ко мне почти дружелюбно:

– Вот чего тебе не хватает, а? Что я тебя, цензурю? Пиши о чем хочешь. Вот у тебя было, мне нравилось:

«Питомцы ветреной Судьбы,

Тираны мира! трепещите!

А вы, мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!»

– Хоть на что-нибудь их настрой. Против власти там, против коррупции или классового неравенства, или, может, Марс там по орбите размещает межпланетные ядерные головки. С иронией напиши про это.

Он делает паузу:

– Ну, хочешь...? – на меня пасквиль напиши! Какой я злой, деспот, как из них все соки выжимаю, за рабов держу. Я тебя сошлю куда-нибудь, где море и горы, а они пусть беснуются. Только душу вложи, пожалуйста. Найди себе чертову душу!

– Я счастлив, что мои старые тексты нравятся вам, Государь. Но они не нравятся мне, и я не могу с этим ничего сделать. Это мусор, Государь.

Он отстраняется и теперь смотрит на меня сверху-вниз.

– Вот и Дух Русский теперь так считает, не без твоей помощи, и воротит нос. Боже! Почему нельзя просто спокойно себе жить прошлым? Шестнадцать томов твоей писанины! Жрал бы от пуза еще пол века... Нет, ему актуальное подавай.

Государь с силой щелкнул челюстями.

– И где оно, это новое? Вот это? – он снова потряс бумажкой. – Отвечай, идиот!

– Государь, это помимо моей воли – написать великую светлую оду, как вы требуете. Я просто не знаю, о чем думать и о чем писать, Государь.

– Думаешь ты просто только о себе, Пушкин. А должен – о народе, о его великом пути. Понимаешь? Сначала народ за твоими стихами с колен поднимается до величья, а потом уже ты. Не наоборот, Пушкин. А если у народа «ни Бога, ни праздных радостей», то он в грязи валяется, с жабами и угрями. И ты вместе с ними. А твои шестнадцать томов раздирают на листочки, чтобы укрываться на ночь и подтираться.

«Там им и место» – я останавливаю себя, чтобы не произнести это вслух, не гневить Государя, но он и так знает.

– Знаешь что, Пушкин? – говорит он сухо, – я устал от тебя. Не пряником, так кнутом. Ты мне напишешь, что я про-

шу, и сам потом еще спасибо скажешь. А нет – беда тебе будет.

Кощей припечатал ладонью к столу листок, развернулся и вышел в дверь на лестницу. Кляц, кляц, кляц, по бетонному полу. На нем нет сапог, а красный кафтан оказывается порван на спине, и из дыры торчат острые позвонки.

Чтобы пройти в проем, ему приходится пригнуться. Кляц-кляц через порог. Следом за ним выскакивает откуда-то взявшийся маленький серый зайчишка. Дверь захлопывается. По лестнице за дверью стук-стук. Ушел Государь.

Оглядываюсь на стол: томик вызывающе топорщится посреди стола. Чудо, что Кощей его не заметил. Или заметил, но виду не подал? Не понимаю его.

Я сажусь на стул. У моих ног подсыхает зеленая лужица. Осколки поблескивают, если я двигаю головой. Поднимаю горловину. В ней все еще торчит пробка. Подношу к губам и поддеваю языком глаз. Глаз застрял, стекло колет язык. Я переворачиваю горловину и пытаюсь высосать из нее содержимое. Дырявая щека мешает. Наконец, глаз вываливается мне в рот. Я жую его и глотаю. Остается горечь.

Провожу пальцем по лужице и подношу его к глазам, чтобы рассмотреть: густая жижа, собирается каплями, не стекает. Поворачиваю палец – свет лампы вспыхивает в осколках. Их много, мелкие. Лужицу так не выпить, не слизать с пола.

Тогда я беру со стола плотный лист бумаги, встаю на колени и ребром ладони сгоняю оставшуюся жидкость на

лист. Стекляшки впиваются в кожу. Часть варева остается в неровностях бетона. Но сколько-то мне удастся собрать. Пока бумага не пропиталась, подношу ее к лампочке и сливаю жидкость на раскаленное стекло.

Тонкая струйка капает на свет, скатывается вниз к патрону, варево покрывает стекло неровно, как глазурь. Зеленая глазурь. Фисташковая.

Шипит. Мелкие осколки искрятся. Поднимается коптящий бурый дымок, и я стараюсь уловить его весь, вдыхаю носом и широко открываю рот. У дыма привкус дохлых котят. Я кашляю, но все равно стараюсь вдохнуть еще. Еще раз. Еще раз. Дрянь. Желудок сводит рвотным позывом. Еще немного. Шипит уже тише. На лампочке осталась черная копоть. Еще. Я давлюсь последними струйками дыма. Потом в спазмах пытаюсь выплюнуть горло.

Жидкость вся испаряется, тогда я прикладываю к лампочке бумагу там, где она пропиталась варевом, бумага чадит, зеленая дрянь дает дым, я снова ловлю его; глотку обволакивает копоть.

Бумага быстро темнеет, скрючивается. В одном месте на ней появляется проплешина, через нее вырывается свет лампочки. Он скрывает от меня разбегающиеся к краям язычки огня. Я собираю горькую слюну и харкаю на огонь. Комок попадает на лампочку. Чирк – она треснула и погасла.

У меня в руке горит листок бумаги. Я осматриваюсь. Край стола. Помятый листок. Другая бумага. Ручка. Стул. Пол.

Стена. Очертания ковра. Там далеко проступает дверной проем. Саму дверь разглядеть уже не могу. Делаю шаг к ней – все равно не видно. Огонь догорает, гаснет. Тени стекают на стены. Руке становится горячо.

Еще шаг. Истошный визг. Обрывается. Я вступил во что-то мягкое. Отдергиваю ногу. Огонь обжигает руку, и я выпускаю лист.

Скулит. Белый. Кажется, совсем маленький. Крошечный. Он хрипит и плачет. Тельце расплющено: щенок. На нем полочется свет от затухающего на полу дребезжащего огонька.

Бумага сгорела, темнота схлопнулась. Я обхватил себя руками, сжался и остался стоять. Меня нет. Я не дышу даже. Совсем нет.

Щенок молчит. Проходит сколько-то времени. Мне надо выдохнуть. Как можно тише. Тише. Только без звука. Воздух трется о воздух. Слишком громко. Теперь надо вдохнуть.

Плачь.

Снова выдохнуть. Выдохнуть. Беззвучно.

Скулит прерывисто. Я медленно сгибаю колени. Сажусь на корточки. Подношу руку к лицу. Закрываю ладонью глаз. Ничего не меняется.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.